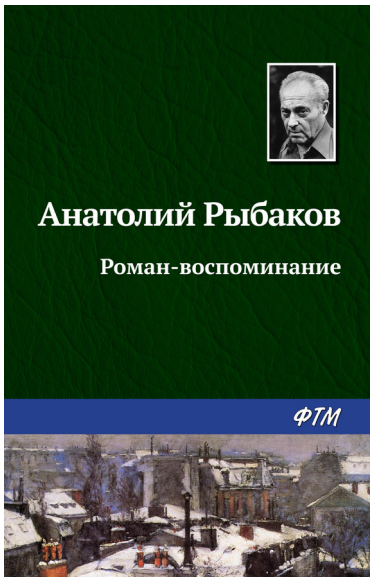
Анатолий Рыбаков
Роман-воспоминание
ФТМ

Анатолий Рыбаков

Роман-воспоминание

«ФТМ»
1997

Рыбаков А. Н.

Роман-воспоминание / А. Н. Рыбаков — «ФТМ», 1997

ISBN 978-5-425-01048-3

Судьба Анатолия Рыбакова (1911-1998), автора романов «Тяжелый песок», «Дети Арбата», «Прах и пепел», завоевавших всеобщее признание, вместила в себя ключевые моменты истории нашей страны в XX веке. Долгая жизнь писателя легла на страницы произведения, названного лаконично и всеобъемлюще – «Роман-воспоминание».

ISBN 978-5-425-01048-3

© Рыбаков А. Н., 1997
© ФТМ, 1997

Содержание

1 5
2 10
3 14
4 21
5 27
6 33
7 40
8 47
9 51
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Анатолий Рыбаков
Роман-воспоминание

1

Воспоминания не поддаются точной хронологии. Написав три повести о детстве и три романа о юности, я смешал правду с вымыслом, трудно теперь отделить одно от другого.

Я родился в 1911 году 14 января в городе Чернигове. Из родильного дома мою мать и меня, завернутого в тулуп, дедушка на санях отвез в село Держановку, где работал отец. Мороз был под тридцать градусов, и всю дорогу дедушка держал палец у меня во рту: проверял, не замерз ли я.

В Держановке мой отец управлял винокуренными заводами. Помню большой помещичий дом в глубине просторного двора, в дом нельзя было заходить – там жил барин. Както он прислал нам садок с живой рыбой, и отец что-то выговаривал матери по поводу этой рыбы. Первое мое воспоминание о матери – ее испуганное лицо, об отце – искривленные в злой насмешке губы. Радость, испытанная мной при виде живых серебряных рыбок, была убита.

Однажды отец взял меня в поездку на завод. Для чего, не знаю, не любил ни меня, ни сестру, мы тоже не любили и боялись его. Самого завода не помню, но ощущения раннего детства возникают, когда я чувствую запахи солода, сусла и барды. Возвращались на линейке, теперь таких линеек нет, на нее садились верхом, в затылок друг другу, упираясь ногами в закрепленные Стремена, впереди с вожжами в руках отец, за ним я, за мной кучер – рыхлый деревенский парень.

Лошадь бежала, попукивая: пук-пук… пук-пук. Это развлекало меня и отгоняло сон. Кучер, задремывая, приваливался ко мне, я поводил плечами, но молчал, боясь гнева отца: обругал бы и меня и кучера. Я молча отталкивал кучера плечом, он пробуждался и отваливался.

Мы ехали вдоль леса по укатанной проселочной дороге. Вечерняя прохлада сменилась ночной теплынью. Взошла луна, осветив синим светом поля, ровными скатами уходившие за уже невидимый горизонт. Пугающая тишина леса, тоскливое однообразие бескрайних полей, освещенных таинственным лунным светом, – первое воспоминание о родной земле.

После революции до лета девятнадцатого года мы жили у дедушки, отца моей матери, в маленьком городке Сновске Черниговской губернии. Позже он был переименован в Щорс: в честь местного уроженца, героя гражданской войны. Сейчас, возможно, городку возвращено прежнее название.

Дедушку и бабушку со стороны отца я не знал. Дедушкой и бабушкой были для меня родители моей матери – Рыбаковы.

Я был старшим внуком, и дедушка меня очень любил. Широкоплечий чернобородый человек, очень красивый, в Москве, куда он приехал уже стариком, прохожие оборачивались ему вслед. У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, оттененное черной цыганской бородой, и раскосые японские глаза с синими белками.

В молодости дедушка работал на строительстве железной дороги, таскал шпалы. Потом на скотобойне, гонял гурты, сбывал сельскохозяйственные машины и, наконец, обзавелся собственным делом – лавкой скобяного и москательного товара. Силы он был необычайной – ухватившись за рога, ставил быка на колени. Происхождение его фамилии – Рыбаков – мне не известно.

Бабушка моя из Гомеля, дочь ломового извозчика. К ней сватался тоже ломовой извозчик, и он уговорил своих товарищей отколотить дедушку, чтобы тому неповадно было ездить в чужой город отбивать невест. Они захватили дедушку на вокзале. Тот, кто видел драки ломовых извозчиков, знает, что это такое: бьются насмерть железными ломами, которыми закручиваются веревки на телегах. Дедушка вырвал у одного извозчика лом и вбежал в станционный зал. Вокзал огласили крики перепуганных женщин, плач детей. Станционное начальство попряталось. С ломом в руках дедушка проложил дорогу через толпу, схватил мою будущую бабушку и сел в поезд. Венчались они в Сновске.

В городе и окрестных селах дедушку уважали за силу, бесстрашие и справедливость. Добрый человек, но вспыльчивый и скорый на расправу. Раздавал женатым сыновьям увесистые оплеухи. Докторов не признавал, от всех болезней употреблял гнилые яблоки – с хорошим поносом, по его убеждению, проходила любая хворь.

Я сам был свидетелем такой сцены. Два мужика украли у дедушки несколько полос железа. Никем не охраняемое, оно лежало возле лавки. Был базар, и как заметил дедушка воров в этой сутолоке, не знаю. Он выскочил из лавки. Увидев его, мужики бросили железо и стояли, оцепенев от страха. Один из них был знаком дедушке, другой нет. Собралась толпа. Кто-то предложил сбегать за милицией. Но дедушка не разрешил. Он велел отнести железо на место. Потом спросил у знакомого мужика:

– Как рассчитываться будем, Ничипор?

Тот молчал.

Ударом кулака дедушка опрокинул мужика на землю, изо рта и из носа у того шла кровь.

– Рассчитались?

Мужик молчал, утирая окровавленный рот.

Второго, незнакомого, дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство – этому, знакомому, он раньше доверял.

До сих пор в моей памяти стоит москательный запах дедушкиной лавки, заставленной ящиками, лотками с гвоздями, мешками с краской, бочками с олифой, железом, косами, серпами, подковами, топорами.

Дедушка был торговец, честный, порядочный, трудолюбивый. С великими трудами добывал он «копейку» и заставлял домашних ее беречь.

Однажды моя мать, тогда еще девушка, несла из кухни в столовую керосиновую лампу. И вдруг раскаленное стекло упало ей на руку: она недостаточно плотно вставила его в лампу. Но она его не сбросила, а, осторожно ступая, донесла до столовой. Предпочла сжечь руку, нежели разбить стекло, стоившее несколько копеек. До конца жизни на руке матери оставался след от ожога.

Вместе с тем никто так не помогал другим, как дедушка, – человек состоятельный, он считал своим долгом выручать людей из беды.

Жила в городе вдова Городецкая, пекла и продавала на базаре булки, зарабатывала гроши, на них кормила кучу детей, оборванных и вечно голодных. Но задолжала богатому мучнику Фрейдкину, тот перестал отпускать ей муку. Кто может помочь? Конечно, Авраам Рыбаков.

Дедушка пошел к Фрейдкину и сказал:

– Долг ее выплачу я. А ты выдашь ей два пуда муки бесплатно. И чтобы было так, как я говорю. Так, и никак иначе.

Дедушка выплатил долг, Фрейдкин отпустил Городецкой муку, она снова начала торговать булками, прославляя дедушку на весь базар.

В двадцать шестом году, летом, я гостил у дедушки в Щорсе. Туда же из Америки туристом с женой и дочерью приехал дедушкин брат Сэм, богатый мебельный фабрикант. Жена,

важная дама, обращала ко всем застывшую на лице улыбку, дочь была полна высокомерного презрения к этой дикой стране и ее жителям. Естественно, все родственники, близкие и дальние, являлись в дедушкин дом засвидетельствовать свое почтение знатным иностранцам. И каждому Сэм, гладковыбритый человек, совсем не похожий на дедушку, давал по доллару. Отворачивался, вынимал из толстого бумажника долларовую купюру и, хмурясь, вручал посетителю. Тень недовольства пробегала по дедушкиному лицу – чувствовал унизительность этой процедуры. Давая деньги, дедушка помогал людям, а его брат отделывался от них.

Сновск не напоминал традиционные нищие, подслеповатые еврейские местечки. Да таких и не было на Черниговщине, где еврейское население едва достигало двух процентов. Это был край черты оседлости, северо-восточная граница Украины, дальше начинались Орловская и Курская губернии. Сновск – русский город, большой железнодорожный узел, окруженный зажиточными украинскими селами. Среди сновских евреев были потомственные паровозные машинисты, винокуры, лесоводы, врачи, дантисты, аптекари, учителя, управляющие имениями, арендаторы.

Дедушкин дом на Большой Алексеевской улице запомнился мне умиротворенной субботней тишиной, разительной в сравнении с базарной суетой будней. На столе белоснежная скатерть, тускло мерцают свечи, пахнет отварной рыбой и халой, дедушка расхаживает по комнате и читает молитву. Он был верующим в той степени, в какой должен быть верующим простой необразованный и деловой еврей, для которого вера – это, прежде всего, форма национального существования. Религия была его праздником, отдохновением от дел и забот, ее догмы – основой порядка, которым он жил, ее обычаи – условием сохранения на земле его гонимого народа.

Медленно и важно, заложив руки за спину, в парадном сюртуке и новом картузе шествовал дедушка по субботам в синагогу. Я нес за ним молитвенник и бархатную сумку с талесом. В Держановке мы жили среди русских людей, я говорил только по-русски, как и мои родители – интеллигенты социал-демократического толка, атеисты. И я, ребенок, тоже ни в какого бога не верил. Но отказать дедушке, увильнуть от этой обязанности не мог, и я нес за ним его молитвенник и сумку с талесом, пританцовывая на шатающихся досках деревянного тротуара.

Дедушка был староста синагоги. Обычно на эту должность выбирали человека состоятельного, чтобы мог и на синагогу дать, и бедным помочь, и с начальством поладить. Выбрали дедушку. Не самого богатого в городе, но его достоинство и мудрость были дороже любых денег. Выбрали его и начальником местной добровольной пожарной дружины, как человека решительного, крутого, умеющего твердой рукой наводить порядок и дисциплину. Мужчин туда принимали отборных, сильных, смелых. И вот, с одной стороны, дедушка – почтенный староста синагоги, с другой – начальник добровольной пожарной дружины: мчится на пожар, нахлестывает лошадей, свистит и гикает, ругается матом и лезет в самый огонь.

После революции дом у дедушки реквизировали, в нем разместился комсомольский клуб. При нэпе дедушка снова завел скобяную торговлю и купил маленький домик на той же Алексеевской улице в дальнем ее конце. Потом нэп ликвидировали, дедушку посадили в тюрьму, требовали золота, денег, но ничего не добились и выпустили. Тут же с бабушкой они, уже глубокие старики, уехали из Сновска.

Помню их приезд в Москву в двадцать девятом году. Я был тогда комсомольцем, считал, что торговцы сами ничего не производят и, следовательно, доходы их «нетрудовые». Но передо мной были мои дедушка и бабушка, всю жизнь они работали с утра до ночи, занимаясь единственным, чем вынуждены были заниматься многие евреи в царской России, –

торговлей. Я видел двух раздавленных жизнью стариков, без крова, без угла, без средств к существованию.

Дети?! Один сын жил в Америке, другой в Палестине, третьего расстреляли, четвертый – «сын торговца» и сам бывший торговец – метался по России в поисках пристанища, пятый – комсомолец, отрекся от отца-«эксплуататора». Две дочери были замужем, имели семьи, жили в перенаселенных коммунальных квартирах, и зятья, которые много лет ели дедушкин хлеб, тяготились стариками. Но дедушка и сам никому не хотел быть обузой. Разоренный, выгнанный из дома, только что вышедший из тюрьмы, «лишенец», то есть лишенный права на труд, на заработок, на жилье, даже на хлебные карточки, он не пал духом, успокаивал и ободрял свою едва передвигавшуюся старуху жену, искал работу.

Людей раздражает вид чужого несчастья, собственные заботы мешают разделять чужие. У бабушки тряслись руки, она проливала суп, крошки застревали в дедушкиной бороде.

У меня ничего не было, кроме молодости, бесконечной жалости к дедушке и своей отдельной комнаты. В этой комнате старики жили со мной почти год.

Дедушка уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Искал работу. Искал в синагоге, где собирались старые евреи, надеялся на их помощь. Они ничем не могли ему помочь, но дома он говорил, что завтра, самое позднее послезавтра, получит «место». Он хватался за малейшую, самую призрачную надежду. Человек слова, верил словам других. Он шутил и смеялся. Голодный, уверял, что сыт, и в доказательство всегда что-нибудь приносил бабушке: кусочек селедки, половину крошечного бутерброда с баклажанной икрой, горстку винегрета, завернутую в бумажку. Улыбаясь, смотрел, как бабушка, присев у окна, медленно это съедала. Когда дедушка уезжал в Ленинград, где родственники подыскали ему работу, я провожал его на вокзал. Мы сели в трамвай. И по тому, как дедушка садился в трамвай, я понял, что за год жизни в Москве он садится в него впервые. Все длинные концы по городу совершал пешком. Не позволял себе потратить восемь копеек на билет. На эти восемь копеек мог принести бабушке горстку винегрета.

В Ленинграде дедушка устроился ночным сторожем при складе пустых бутылок, он помещался в сыром подвале. Получал восемьдесят рублей зарплаты, шестьдесят из них отсылал в Москву бабушке, двадцать оставлял себе на пропитание. Ни комнаты, ни угла не снимал, жил при складе. Очень дорожил местом, и когда заболел крупозным воспалением легких, не взял бюллетеня, перенес болезнь на ногах, отлеживаясь в сыром подвале, боялся потерять службу. А у него была бронхиальная астма.

Он уволился, только почувствовав приближение смерти – хотел умереть на родине. Заехал за бабушкой в Москву, и они вернулись в Щорс, где дедушка родился, был богат и почитаем, где они венчались, растили детей и внуков, прожили жизнь и где на окраине города им еще принадлежал маленький домик.

Приехав в Щорс, дедушка составил завещание: после его смерти все остается бабушке, а после ее смерти раздается бедным. К завещанию был приложен список давних дедушкиных должников и указано, что эти долги должны быть отданы на синагогу. Через десять дней, в возрасте 73 лет, дедушка умер. Перед смертью он написал детям письмо, в котором просил не оставлять бабушку.

Но детям не пришлось заботиться о ней. Похоронив дедушку, она оставила себе только необходимое для обряда собственных похорон, а остальное свое жалкое имущество раздала тем, кто был беднее ее, сказала, что ей осталось жить три дня и она хочет, чтобы последняя дедушкина воля была выполнена при ее жизни. Ровно через три дня бабушка умерла.

Вера в нечто стоящее выше человеческих невзгод помогла этим старикам достойно завершить жизнь, конец которой был омрачен бедностью и страданиями. У меня сохранилась их фотография: бабушка – еще видная старуха в длинном традиционном еврейском пла-

тье и дедушка – чернобородый красавец с величественным, энергичным лицом и добрыми морщинками вокруг глаз.

Я очень любил дедушку. Воспоминания о нем до сих пор волнуют и трогают меня. Помню его сильные руки и засаленный сюртук, пропахший железом и олифой. Человек труда и долга, он умел творить добро, быть справедливым и никогда не терять веры в лучшее будущее. В жизненных испытаниях этот простой человек проявлял больше мудрости и стойкости, чем я. Он был неграмотен и жил миром, который существовал внутри него, – это был хороший и честный мир. Я был учен, жил миром, который окружал меня, и не всегда противостоял его лжи и несправедливости.

2

У дедушки было пятеро сыновей и две дочери. Моя мать – старшая.

Дедушка надеялся, что сыновья, как и он, будут торговцами. Торговцем стал только старший – Толя. Но, в отличие от деда, был торгаш, жадный и лукавый. Во время послевоенной денежной реформы за какую-то операцию с деньгами его осудили на десять лет лагерей. В лагере и умер.

Второй, Гриша, однажды ночью исчез и оказался в Америке, работал там шофером на грузовике. В тридцать втором году приезжал в СССР. Немудрящий человек, спокойный и деликатный. Советскую жизнь одобрял, только не понимал, почему людям запрещают торговать. Гордился значками, удостоверявшими, что в одной фирме он проработал много лет. Через год после возвращения из Союза в Штаты умер. Болел сердцем, но, боясь потерять право на какую-то особую пенсию, продолжал работать. Работа была тяжелая.

Третий – Лева, фантазер и мечтатель, носил пенсне, читал запоем, из него хотели сделать «образованного» человека. Помешали: процентная норма, война, революция, женитьба, а главное – его собственная ленивая созерцательность. В середине двадцатых годов уехал в Палестину, но вскоре там умерла его жена, он вернулся в Россию с двумя сыновьями, устроился в Ленинграде мелким служащим. Хороший был человек, какими часто бывают непрактичные и неумелые мечтатели. Был у него талант рассказчика, мог целый день, а то и ночь пересказывать виденные кинофильмы и прочитанные книги. Во время блокады из Ленинграда не уезжал, участвовал в его обороне и вскоре после войны умер.

Давид был самый младший, в семье его звали Дончик, худенький, мальчишеского роста, с ангельским лицом, но недобрым и мстительным характером. Комсомолец, потом член партии, всю жизнь доказывал, что еще в ранней юности порвал с отцом-торговцем. Я помню бесчисленные заявления, опровержения, сбор свидетельских показаний. Он работал в прокуратуре, болел диабетом, последние годы адвокатствовал. Умер в возрасте пятидесяти пяти лет. Ничем не был похож на своего отца, моего деда. Хорошо вписывался в общественно-социальный фон тридцатых годов.

И только один из сыновей, Миша, попав в горнило великих событий, поднялся до высоты дедушкиного характера. Доброта и отвага, проявление которых в дедушке было ограничено его положением торговца, переросли в дяде Мише – командире Красной Армии, участнике гражданской войны – в безоглядную щедрость и отчаянную храбрость. И внешне он больше других братьев походил на деда – широкоплечий крепыш с чеканным загорелым монгольским лицом и раскосыми глазами, сорвиголова. Другим сыновьям дедушка раздавал пощечины, Мишу колотил нещадно.

В конце первой мировой войны, шестнадцати лет, он сбежал на фронт, присоединился к проходящему кавалерийскому эскадрону. Три года не подавал о себе вестей, его считали погибшим, и вдруг он появился в Сновске: живописный красный командир в папахе, длинной кавалерийской шинели, перетянутой ремнями, с шашкой и пистолетом на боку, со звенящими шпорами на сапогах. Весь город им гордился, – герой гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени, ну, а я особенно – мой дядя! В доме полно оружия, в конюшне красавцы кони. Два дня он пробыл в Сновске, и я не отходил от него ни на шаг, куда он, туда и я, он меня не прогонял, добрый человек, бесшабашный, отважный, справедливый и бескорыстный. В революции обрел мужественную веру, заменившую ему веру предков, его прямой ум не выносил талмудистских хитросплетений, простая арифметика революции была ему понятней, гражданская война дала выход кипучей энергии, ясность солдатского бытия освобождала от мелочей жизни.

С ним мы чувствовали себя в безопасности, но вскоре он уехал, и снова начались страхи перед бандами, белыми, зелеными, разными «батьками» и атаманами, свирепствовавшими в окрестных селах. Ночью по улицам ходили отряды местной самообороны: дети еврейских торговцев и ремесленников, рабочие депо и железнодорожных мастерских. На станции стояли воинские эшелоны, санитарные кордоны, заградительные отряды, лошади переступали копытами в вагонах… Мир разделился на белых и красных, я был за красных и гордился тем, что в дедушкином доме живет комиссар – матрос Крылов. Рассказывал своим товарищам всяческие небылицы о нашей с ним дружбе. Дружбы никакой не было, было преклонение мальчика перед сильным и грубым военным моряком, на которого я бессознательно переносил свое обожание и преклонение перед дядей Мишей.

Крылова боялись: он собирал контрибуцию и иногда вызывал к себе тех, кому полагалось ее платить, но которые ее не платили. В этих случаях меня отсылали из дому. Но однажды я вбежал с улицы, меня не успели остановить. На полу лежал длинный худой еврей, на нем сидел Крылов и бил его по голове кулаками. Тот извивался, корчился и плакал, грязно-серые штрипки кальсон торчали из-под задравшихся брюк. Крылов повернулся ко мне, и я увидел его налитые мутной кровью дикие глаза. На кухне жались перепуганные люди. Дедушка вошел вслед за мной, взял за плечи и вывел из комнаты.

Я сидел на улице. Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека, где-то на огородах лаяли собаки. И эта вечерняя тишина, когда рядом в доме избивают человека, была страшной и угнетающей. На крыльце показался избитый еврей. Я смотрел на него с отвращением. Но кончилось и мое преклонение перед Крыловым. Нет, он не такой, как дядя Миша.

Осенью девятнадцатого года мы переехали в Москву. Ехали долго, месяца полтора или два по югу России, по Украине. Нигде гражданская война не бушевала так, как здесь. Этот переезд мне хорошо запомнился. Я видел дороги России, по которым катилась Революция – массы людей, поднятых неотвратимой стихией и брошенных в неизвестность.

Пассажирские поезда не ходили, наш вагон прицепляли к проходящим эшелонам. Мосты были разрушены, мы выбирались на действующие дороги в объезд, кружным путем. Леса, поля, деревеньки, белые хаты-мазанки, небо и равномерный стук колес, потом опять шумные станции, вокзалы, воинские эшелоны, разутые красноармейцы, щеголеватые матросы, рабочие, мешочники, озверелые толпы людей, кидающиеся на проходящие поезда, люди на крышах, тормозах и буферах вагонов, митинги, плакаты, частушки.

На одной станции мы стояли очень долго. Из станционных зданий выносили трупы умерших от голода и от тифа. Грязные дети копошились на платформах. Небритые солдаты разводили на путях костры, что-то варили в котелках.

К нашему составу прицепили товарный вагон, в нем везли продовольствие для детских домов Москвы. Вагон был запломбирован. Каким образом узнали о нем красноармейцы, не знаю. Но узнали и окружили вагон. Командиры потребовали выдачи продовольствия. Начальник эшелона им отказал: вагон нетронутым должен быть доставлен в Москву. Командиры грозили, что красноармейцы все равно отберут продовольствие. Пока велись переговоры, толпа увеличивалась: голодные люди облепили вагон, взобрались на крышу, отшвырнули часового, затрещал замок, тяжелая дверь покатилась по рельсе.

И в эту минуту появился дядя Миша. Не могу понять, откуда он возник. Я увидел его, когда он уже вскочил в вагон и стоял, обращаясь к толпе.

Он не был ни трибун, ни оратор. Но он был *свой*. Отчаянный, лихой парень, которых так добродушно любит толпа, бесстрашный человек, привыкший управлять себе подобными, не дающий их в обиду, но и не позволяющий самовольничать. Никто или мало кто знал его здесь, но что это за человек, толпа угадала сразу.

О чем он говорил, я не помню. Важно не то, о чем говорил, важно, что стоял в дверях вагона, и для того, чтобы войти в вагон, надо было оттолкнуть его. А дотронуться до него никто бы не решился – застрелит первого, кто поднимет на него руку.

Потом он объявил, что в вагоне есть несколько мешков сухарей и эти сухари сейчас раздадут красноармейцам.

Сухари выдавали тут же, у вагона, один сухарь на человека. Солдаты подходили, каждый брал свой сухарь и отходил в сторону. Никто не пытался получить второй.

Сухари кончились. Начали выдавать крошки, по две горсти на человека. Теперь подставляли шапки… Кончились и крошки. Нескольким солдатам ничего не досталось. С ними делились те, кто не успел дожевать свой сухарь. Командиры стояли в стороне, они не брали сухарей, хотя тоже были голодны. Дядя Миша зашел к нам в вагон, пошутил с моей матерью и исчез так же внезапно, как и появился.

Таким я видел его в последний раз, таким запомнил, таким представлялся мне истинный революционер. «Домой не ждите, пока не возьмем Варшаву», – так писал он дедушке, когда служил в конном корпусе Гая.

После гражданской войны дядя Миша был командиром расквартированной в Чернигове части. В городской тюрьме содержались трое его земляков-сновчан. По стране ходили тогда всякого рода денежные знаки: советские, царские ассигнации, карбованцы, керенки, деньги, выпускаемые разными правительствами, генералами, атаманами, даже уездами, объявившими себя республиками. Говорили, будто на деньгах, выпущенных Махно, было написано: «Гоп, куме, не журися, у батьки Махно гроши завелися». Возможно, это был анекдот того времени. Единственной и надежной валютой считались золотые царские монеты, на них можно было что-то купить у крестьян и перепродать. Однако это преследовалось, как спекуляция золотом. И вот трое сновчан на этом попались, сидели в тюрьме, им грозил расстрел. Их жены кинулись к Мише Рыбакову, видному человеку в Чернигове: дети останутся сиротами, что делать?! Дядя Миша знал этих людей, не считал их преступление таким уж значительным, начал хлопотать за них, хлопоты ни к чему не привели. Тогда со взводом солдат он явился в тюрьму и освободил арестованных.

За это трибунал приговорил его к расстрелу.

Его любили, никто не хотел его гибели, и предоставили возможность бежать, выдали дедушке на три дня на поруки. Факт невероятный, тем не менее это было так. У дедушки стояли наготове лошади. Но дядя Миша бежать отказался. Он объехал всех, кому задолжал: сапожника, портного – был щеголь, – роздал долги, попрощался с дедушкой и вернулся в тюрьму.

Безусловно, его расстреляли, однако никто не поверил в его смерть. Много лет после этого дедушке сообщали, будто встречали дядю Мишу то в Харькове, то во Владивостоке, то вблизи румынской границы. Просто смерть такого человека должна быть абсолютно достоверной, чтобы в нее поверили: он так часто рискует жизнью, так удачлив, что кажется неподверженным смерти.

Но дядя Миша не был удачливым человеком, он был простодушен и прямолинеен, как и та короткая эпоха, в которую жил, – конец этой эпохи был и его концом. Он принимал жестокости войны, но жестокость без войны была ему отвратительна. Он мог стрелять, но не расстреливать. Он жил стихией гражданской войны, а революция и гражданская война – это лава, которую выбрасывают вулканы истории; разливаясь, она все сжигает на своем пути.

Дедушка был противником революции, дядя Миша – ее творцом. Оба они погибли в ее огне. Дядя Миша дрался за революцию, когда она несла людям освобождение. Он вступил с ней в конфликт, когда она начала карать поверженных…

Я рассказал здесь то, что запомнил о своем раннем детстве. Оно осталось в моей памяти мягкими красками украинского лета, огнем и громом российской гражданской

войны, мелодиями еврейских молитв, их вековой печалью. Революция вошла в мое сознание, когда она утверждала принципы свободы и справедливости. Это были ее романтические годы. Но я видел и насилие. «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата» – на этой ленинской формуле воспитывалось мое поколение. Позже я увидел, какие страшные и бесчеловечные формы приняла эта формула, когда Сталин сделал ее краеугольным камнем своей государственной политики.

3

Мы приехали в Москву осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года. Переезд (на телеге) с Брянского вокзала (теперь он называется Киевский) показался мне длинным, хотя расстояние до Арбата небольшое. Первое мое впечатление о Москве – мотоцикл с коляской. Мотоциклы я раньше видел, но с коляской – никогда. Я решил, что это детский автомобиль, и испытал восторг, который испытывает ребенок, впервые увидевший пони – маленькую, но живую лошадку.

Поселились на Арбате в доме номер 51, он существует и сейчас. Три восьмиэтажных корпуса тесно стоят один за другим, низкие арочные проезды соединяют два глубоких темных двора, прикрытых квадратами серого московского неба. В квартиры первого корпуса, просторные и солнечные (фасад выходит на Арбат и ничем не загораживается), после революции вселили рабочих, военных, «уплотнив» старых хозяев, шикарные раньше апартаменты оказались коммунальными. Наоборот, небольшие квартиры второго и третьего корпуса, тесные и темные, остались у прежних жильцов. В этом доме на втором этаже второго корпуса в квартире номер 87 я прожил до ареста, до ноября тридцать третьего года. В пятьдесят девятом году там умерла моя мать. Дом моего детства, моей юности, я описал его в «Кортике», в «Детях Арбата», он хорошо известен старым москвичам: долгие годы там существовал кинотеатр «Арбатский Аре», потом он назывался «Наука и знание». А соседний, 53-й дом знаменит тем, что в нем 18 февраля 1831 года поселились после женитьбы Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной.

В моем доме и поныне сохранилась булочная, ранее принадлежавшая известному московскому хлебопеку Чуеву. Длинная очередь загибалась с улицы во двор, хлеб выдавали по карточкам – 100 граммов иждивенцу, 200 – работающему. Матери на весь день оставляли нас в очереди, ее номер химическим карандашом был выведен у каждого на ладони. Тревожное, холодное и голодное время. Говорили, что Деникин уже в Туле, в 180 километрах от Москвы. Мальчишки распевали частушки: «Я на бочке сижу, а под бочкой мышка», одни добавляли: «Скоро белые придут, коммунистам крышка», другие: «В Тулу красные придут, монархистам крышка».

Центральное отопление не действовало, квартиры отапливались железными печками-обуржуйками»: выведенные в форточку трубы тянулись через всю комнату, здесь же лежали и дрова, добытые неизвестно где; если дров не было, в ход шли мебель, книги. Лифт не действовал. Пальто, перешитые из старых солдатских шинелей, латаные, подшитые валенки зимой, рваные сандалии летом. В школе вместо горячего завтрака – кусок селедки с куском непропеченного хлеба. Рабочим с окраин было легче: они перебирались в свои деревни или привозили оттуда картофель, капусту, какие-то продукты. Жители Арбата продавали на Смоленском рынке свое барахло. Раз в месяц мы с мамой отправлялись к отцу на работу и на детских саночках привозили с другого конца Москвы его жалкий паек. Пустынный, затихший, холодный и голодный – таким был Арбат начала двадцатых годов.

Арбат – улица интеллигенции. В переулках между Арбатом, Пречистенкой и Остоженкой располагалась Старая Конюшенная – дворянское гнездо Москвы, а вокруг Поварской улицы (Хлебный, Серебряный, Скатертный, Столовый, Кречетниковский переулки, Собачья площадка) обитала когда-то царская кремлевская обслуга. Там же, в районе Никитской, жили профессора, преподаватели и студенты Московского университета. Возле Арбата на углу Никольского и Гагаринского переулков помещалась поликлиника ЦЕКУБУ – центрального комитета улучшения быта ученых. Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, тоже опекалась ЦЕКУБУ.

Мой отец – крупный инженер, семья естественно вписалась в интеллигентную арбатскую среду. В двадцать третьем году, когда жизнь в стране наладилась, у нас появилась высокая сухопарая француженка, больше смахивающая на англичанку. Служила раньше у богатых людей, почему после революции застряла в России, не знаю, на каких правах обитала в нашем доме, тоже не помню, вроде бы как жиличка, помогала маме по хозяйству и заодно обучала детей французскому языку. Жила со мной и сестрой в одной комнате, было неудобно и ей и нам, раздраженная, придирчивая, плохо владела русским, заставляла нас говорить друг с другом по-французски, изводила склонениями и спряжениями, придиралась к произношению, мы ее не любили, нашей матери она надоела своими жалобами. Вскоре ее сменила другая француженка, приходящая, жившая неподалеку с русским мужем, веселая, разбитная, средних лет особа, прошедшая огонь и воду, даже участвовала в гражданской войне с мужем – красным командиром. Скорее всего, он подобрал ее в каком-нибудь борделе, в лучшем случае, в бывшем барском доме, где служила горничной. Никакого образования не имела, но владела живым народным языком, заниматься с ней было весело и интересно, грамматикой нас не мучила, сама была в ней слаба, рассказывала на французском какие-то веселые истории, читали мы с ней Альфонса Доде, Виктора Гюго. К сожалению, занятия эти прекратились, в школе французский язык заменили немецким, но уроки мадам Луизы (по-русски ее следовало называть Елизавета Ивановна) пошли впрок, мы с сестрой читали, писали, разговаривали по-французски, до сих пор в моей памяти живы персонажи прочитанных тогда книг, и даже сейчас, через семьдесят лет, могу кое-как объясниться по-французски.

Ходила к нам и преподавательница музыки, половину нашей детской комнаты занимал рояль «Беккер». К занятиям музыкой я не выказал ни способностей, ни желания. Пионер, потом комсомолец, домашние занятия французским, музыкой я считал признаком буржуазности, часами разыгрывать гаммы и ганоны – пустой тратой времени. Я бросил занятия, а Рая, моя сестра, продолжала, поступила в музыкальное училище Гнесиных, занималась у известного профессора Эйгеса. Некоторые ее черты я придал Варе – героине «Детей Арбата».

Этот период материального благополучия в семье был довольно короток и совпал с экономическим подъемом в стране, вызванным нэпом. Отец, беспартийный, как тогда говорили, «спец», получал оклад больший, чем его начальник: жалованье коммунистов, ограниченное «партмаксимумом», составляло, если не ошибаюсь, 175 рублей, затем Сталин его постепенно повышал – 225, 275 и наконец отменил, чем окончательно привлек на свою сторону партийную бюрократию. К тому же отец был изобретатель, рационализатор, изобретения его внедрялись в промышленность, что тоже оплачивалось.

Чтобы освободиться от импорта естественного каучука, в тридцатых годах в стране строились заводы синтетического каучука, сырьем для него служил спирт, выработанный из картофеля. Заводы к сроку не построили, а картофель завезли, громадные его бурты высились под открытым небом, появилась угроза порчи. Никто не знал, что делать. Отец объявил: если ему обеспечат полную свободу действий, независимость и безусловное выполнение его приказов, то весь картофель он переработает на крахмал. Выхода не было. Народный комиссар пищевой промышленности Микоян снабдил отца неограниченными полномочиями. Отец сконструировал крахмалоловушку (она носит его имя), установил ее на винокуренных заводах и за один сезон переработал весь картофель, за что был награжден большой суммой денег; об этом я, будучи тогда в ссылке, узнал из газет. Отец мог бы стать крупным ученым, изобретателем, промышленным деятелем, этому помешали его неуживчивость, раздражительность, мучительный педантизм.

Мной и сестрой отец не интересовался, никогда ничего нам не рассказывал, ни о чем не спрашивал, зато по любому поводу делал замечания: не так сидишь, не так держишь ложку, во время еды не разговаривай, почему смял салфетку, не кроши хлеб на стол. Эта удручаю-

щая фиксация каждого движения, этот неусыпный контроль были невыносимы. И тут же, кривя губы, выговаривал матери: «Твое воспитание». Если мы пытались объясниться, он обрывал нас: «Я не с вами говорю, а с вашей матерью. Помолчите!»

Гладко выбритый, высокий, красивый, с серыми, холодными, слегка выпученными глазами, аккуратно подстриженными усами, он был глуховат, переспрашивал, сердился; со службы возвращался заранее всем недовольный: неплотно прикрыта вторая дверь, тепло из квартиры уходит на лестницу, коврик для ног лежит не на месте, неужели коврик кому-то мешает. Что за люди! «Будем обедать?» – спрашивала мать. «Могу не обедать». За столом хмурым взглядом провожал каждое мамино движение, брезгливо осматривал тарелку, вилку, нож, ложку, хотя посуда сверкала: мать была очень аккуратна; молча сосредоточенно ел. «Второе будет?.. Ах, будет, спасибо!» Съедал все до крошки, и нас с сестрой заставлял съедать все до крошки: ничто не должно оставаться на тарелке, ничто не должно пропадать. Ботинки выставлял на ночь на подоконник, чтобы проветривались, каждый день чистил их в коридоре на расстеленной газете, всем мешал, но соседи молчали, не хотели с ним связываться.

Приходил ночью в детскую, зажигал свет, будил нас, переворачивал на правый бок – спать на левом боку вредно, с детства надо приучать себя спать правильно. Соблюдал порядок сам и требовал того же и от других, негодующий, раздраженный и агрессивный педант. Даже молчал с мрачным и обиженным лицом, готовый взорваться неожиданно, по любому поводу.

Слушая мать, презрительно кривил губы, обрывал: «Не говори глупости».

Я любил мать, жалел ее, страдал, временами ненавидел отца, но не мог преодолеть страх перед его леденящим взглядом. Не спал ночами, обдумывая, как завтра все ему выскажу, как оборву его, с этими мыслями уходил в школу, возвращался, наступал вечер, отец приходил со службы – и снова замечания, недовольство, а я не мог заставить себя произнести слова, которые придумывал ночью. Я был сильный и смелый мальчик, никого не боялся ни во дворе, ни на улице, ни в школе, презирал трусливых, мог дать отпор, умел драться, защитить слабых. Но дома я сам был слаб, это угнетало меня…

Как-то за ужином отец повысил голос, обращаясь к матери:

– Сколько раз тебе надо повторять?!

И тогда я сказал:

– Мама тебя не расслышала.

– Что, что?!

– Я говорю: мама тебя не расслышала.

Он выпучил на меня свои холодные серые глаза, повернулся к матери, скривил губы:

– Вот как мои дети со мной разговаривают, ты их восстанавливаешь против отца, подумай об этом, Дина. – Повернулся ко мне: – А ты – вон из-за стола!

Весь вечер я слышал из родительской комнаты раздраженный голос отца: выговаривал матери из-за меня. На следующий день она мне сказала:

– Толенька, прошу тебя, не спорь с отцом. Ты видишь, как он много работает, устает, у него неприятности на службе, мы должны его прощать.

Но прощать отца я не хотел. С того дня старался реже его видеть. Приходил из школы, обедал, делал уроки и уходил из дома: летом – на задний двор, играть в футбол, зимой – на Девичье поле, на каток или в кино.

А вскоре я поступил в один из первых пионерских отрядов при фабрике имени Свердлова – они создавались тогда на предприятиях. Явился в фабричный клуб в день пионерского сбора, подошел к вожатому и сказал, что хочу вступить в пионеры.

Передо мной стоял сероглазый русоволосый парень. Под стареньким вытертым пиджаком на косоворотку был надет пионерский галстук. Звали его Коля.

– Родные твои, отец-мать, где работают?

Я назвал учреждение, где работал отец.

– Там ты и должен поступать. Мы сюда принимаем только своих – фабричных.

– Там нет отряда.

– Организуйтесь. Соберитесь, пойдите в комсомольскую ячейку, проявляйте инициативу, создайте свой отряд. Чего стоишь?

– Куда я пойду? Служба отца у Красных ворот.

– А живешь где?

– На Арбате.

– Близко от нас… Завтра праздник, к утру мы должны клуб украсить. Останешься?

– Конечно.

– Становись в шеренгу.

Я пробыл в клубе до двенадцати ночи, мы рисовали и развешивали плакаты, лозунги, таскали столы и скамейки. У меня мелькнула мысль – позвонить маме, предупредить ее, что приду поздно, но сдержало опасение прослыть «маменькиным сынком», я понимал, что меня испытывают на самостоятельность – а ну покажи, каков ты есть… К ужасу мамы я явился домой за полночь.

Так я стал пионером. Во дворе и в школе косились на мой красный галстук, девочки ехидно спрашивали:

– Толя, ты что, в партию записался?

– Вот именно, в партию.

В отряд я ходил каждый вечер: собирали беспризорных в детприемники, пожертвования в пользу голодающих Поволжья, выступали в «Живой газете», высмеивали пьянство, ругань, неуважение к женщине, неуважение к другим народам.

На один слет в Хамовниках в большой актовый зал какого-то института к нам приехал Бухарин. Выступал, рассказывал о положении в стране, о том, чего добивается советская власть, о задачах молодежи, говорил просто, иногда даже весело и смешно, мы его избрали почетным пионером, надели красный галстук. В этом галстуке он шел с нами после слета по Большой Царицынской, посередине улицы, без охраны, невысокий, плотный, широкоплечий человек с бородкой и веселыми голубыми глазами, «любимец партии» – так называл его Ленин. Дошел до Зубовской площади, попрощался, я стоял рядом с ним, он хлопнул меня по плечу и сказал: «Давайте, ребята, помогайте Революции!» – и сел в поджидавшую его машину. Мы были преисполнены гордости и восхищения – вот какое значение придает нам страна.

В этом состоянии я пришел домой. И, войдя в коридор, услышал шум в родительской комнате, отец раздраженно выговаривал матери:

– Сколько раз нужно повторять?! Клади на место! Мне надоел этот сумасшедший дом!

Я вошел в комнату, отец уставился на меня. Громко, чтобы он слышал, я спросил:

– Почему ты кричишь на маму?

– Что, что?

– Я спрашиваю, почему ты кричишь на маму?

Он стукнул кулаком по спинке стула:

– Как ты смеешь вмешиваться в наши дела?

– Не позволю кричать на маму!

Я думал, он бросится на меня. Но он вдруг всхлипнул и закрыл лицо руками:

– Хороший сын, хорошие дети…

Это было неожиданно. Я никогда не видел отца плачущим. Отец есть отец. Жалость шевельнулась во мне… Отец отнял руки от лица, глаза были злые, сухие.

– Иди, иди в свою ячейку, в свой райком, пожалуйся на отца.

То, что шевельнулось во мне, погасло.

– Я никому не собираюсь жаловаться, но обижать маму не позволю. Запомни это!

И вышел из комнаты.

Несколько дней я не видел отца. Потом неожиданно вечером он сказал:

– Мне нужно поговорить с тобой.

Я отложил книгу, которую читал, поднял на него глаза.

Отец облокотился о крышку рояля.

– Я никогда ничего плохого вам о матери не говорил, ни тебе, ни Рае, не хотел вмешивать вас в наши отношения. Теперь ты вмешался сам. Так вот: ты должен знать – в нашем разладе виновата ваша мать. Она никогда не понимала моих стремлений, моих интересов, ей безразлична моя работа, ей нужна только моя зарплата. Она оттолкнула от дома моих сослуживцев, потому что ревновала к их женам, к каждой юбке ревновала. И вас настроила против отца…

Все, что он говорит, – неправда, я это хорошо знал.

И я сказал:

– Если люди не могут жить вместе, они должны разойтись.

Через месяц отец уехал работать на Ефремовский завод синтетического каучука.

В моей памяти мать сохранилась такой, какой была она в старости. Небольшая, полноватая, красивая, с густыми всегда хорошо уложенными седыми волосами, карими живыми глазами. Моя тетка, ее младшая сестра, говорила, что мама была хохотушкой и самой остроумной в их семье. Но в моей памяти осталось щемящее ощущение ее печали, незащищенности перед жизнью. Она была мягкой, деликатной, ни с кем не ссорилась, не спорила, старалась казаться веселой, никогда не жаловалась на отца, не хотела разлада в доме. Запомнились ее грустные песни: «Выстрел раздался, и чайка упала, издавши последний отчаянный крик…», «Помнишь ли день, как, больной и голодный, я унывал, выбивался из сил? В комнате нашей, пустой и холодной, пар от дыханья волнами ходил»… У мамы был хороший голос, ее приглашали петь на радио, нам с сестрой очень нравилась эта идея, но отец не разрешил.

Почему не помню ее молодой? Помню отца молодым, сестру девочкой, а вот мать только старой. Возможно, мы помним своих матерей такими, какими они были перед смертью? Или я сохранил ее в памяти такой, какой увидел после долгих лет разлуки, после тюрьмы, ссылки, скитаний по России, после войны, после возвращения, она была тогда уже седая, немолодая.

Когда отец уехал от нас в Ефремов, мать подыскала работу, стала «надомницей», какой-то тип вручил ей машинку «Оверлок» для трикотажной работы, являлся раз в неделю, забирал ее продукцию, выговаривал: «Это разве шов?! Это стежки?» Мать отвечала, что освоит эту работу, дальше пойдет хорошо. Но однажды вмешалась сестра. С характером была девочка: «Если вам не нравится мамина работа, отдайте в другое место». Эту сцену я и застал, когда пришел домой. «Ну да, вы портите изделие, а ваша дочь будет мне выговоры строить?» – возмутился тип.

Я сгреб все со стола, сунул ему в руки машинку:

– Чеши отсюда!

После этого мама ходила по квартирам, распространяла билеты разных лотерей: Осовиахима, помощи голодающим Поволжья, еще чего-то… Я представлял, как она стучится в чужие двери, что-то кому-то предлагает, унизительное, конечно, занятие.

В тридцать третьем году меня исключили из комсомола и из института. Я скрыл это от матери, был уверен, что восстановят, делал вид, что уезжаю на занятия, «стипендию» зарабатывал, разгружая вагоны на Киевской-товарной. Но скрыть не удалось, от кого-то мама

узнала, сразу поняла, чем это грозит, и с той минуты вся ее жизнь сосредоточилась на одном – как спасти меня. Предложила уехать к каким-то дальним родственникам, или даже в Нахичевань к знакомым нашей соседки-армянки. Я ее успокаивал, посмеивался над ее страхами, арест мне не грозит, наоборот, уехав, не сумею восстановиться, и это вызовет еще большие осложнения. Я ходил из одного учреждения в другое, ничего не добился. Тогда, минуя все инстанции, обратился к самому Сольцу, главному человеку, разбиравшему конфликтные партийные дела, чудом попал к нему, и он отменил мое исключение. Восстановили в институте, в комсомоле, но переубедить мать не удалось – она чувствовала приближение катастрофы.

Как-то, возвращаясь домой, я увидел ее у часовой мастерской, она делала вид, будто рассматривает выставленные за стеклом часы, а сама искоса наблюдала за воротами нашего дома, потом пошла назад, вглядываясь в лица прохожих, дошла до аптеки, перешла на другую сторону улицы и опять пошла вперед, вглядываясь в людей, входящих и выходящих из нашего дома. Так продолжалось долго, может быть, час, она кого-то высматривала, выслеживала… Наконец вошла во двор. Я догнал ее и спросил:

– Кого ты высматривала?

Она оглянулась – никого сзади не было, посмотрела на меня широко раскрытыми глазами:

– За тобой следят, их трое, вижу их здесь каждый день.

– Мама! Меня всюду восстановили, все кончилось. Выкинь эту муть из головы, не отравляй себе жизнь!

Она молчала, сутулилась, мелко кивала головой, будто у нее тик. Я не переубедил ее, она была во власти страха.

В доме ее настораживал каждый звук, она стояла у дверей, прислушиваясь к шагам на лестнице, взбиралась на подоконник: смотрела, кто идет к нашему подъезду, дрожащими руками поднимала трубку телефона – вдруг это меня вызывают *туда*?..

Я сел рядом с ней, взял ее руки в свои:

– Мамочка, дорогая, перестань волноваться, все прошло, кончено, та история уже всеми позабыта, не терзай себя.

Она молчала некоторое время, потом сказала:

– *Они* ничего не забывают и ничего не прощают.

Мать оказалась права, предчувствие не обмануло ее. Они пришли ночью, позвонили, я открыл им, один часовой встал у входных дверей, другой – у черного хода, уполномоченный прошел в комнату, предъявил ордер на обыск и арест. .Я не знал, как впустить их в мамину комнату, что будет с ней, когда она увидит этих людей, но она уже не спала, стояла, опираясь локтями о крышку комода, запустив пальцы в волосы, прислушиваясь к тому, что делается в моей комнате. Молча смотрела, как уполномоченный перебирает вещи в шкафу, роется в чемоданах, рассматривает фотографии. Когда он вернулся в мою комнату, она вышла за ним в платье, наспех натянутом на ночную сорочку, жалко улыбаясь, подошла ко мне, провела дрожащей рукой по моим волосам.

– Гражданка, посидите в своей комнате, – сказал уполномоченный.

Эта казенная категоричность всегда пугала маму, а сейчас испугала особенно: она сделала такое, что может мне навредить.

– Может, всем лечь на пол? – спросил я. Уполномоченный удивленно воззрился на меня.

– Мы живем одной семьей, моя мать имеет право здесь присутствовать.

Мама осталась.

Обыск продолжался часа два, забрали документы, записные книжки, институтские тетради, письма, уполномоченный спросил, где можно помыть руки.

И тут мать засуетилась, достала из шкафа свежее полотенце и протянула уполномоченному с заискивающей улыбкой: может, *там* этот человек облегчит мою участь.

Рая потом мне рассказывала: мама месяцами разыскивала меня по московским тюрьмам, сутками выстаивала на морозе в тюремных очередях, готовила передачу и опять сутками стояла с ней у высокой тюремной стены, неделями высиживала в тесных душных коридорах у прокуроров, писала заявления, через какие унижения прошла, через какое хамство, грубость, бездушие – все это хорошо известно, это была жизнь миллионов наших матерей. И ее письма в ссылку, и ожидание моих писем, и беспокойство за то, что их долго нет или нет очередного письма (я их нумеровал), и волнения, не продлят ли мне срок, отпустят ли? Потом начались мои многолетние скитания, мне запретили жить в больших городах, и все же в России у меня был свой дом, я не имел права там появляться, и все равно это был *мой* дом – там жила моя мать… Приезжая в новый город, я прежде всего шел на почту и звонил в Москву: «Мама, я жив-здоров, здесь я лучше устроюсь, пиши мне до востребования…» Были дни отчаяния, когда не хотелось жить, но я не мог умереть, иначе умерла бы и мать. Частые переезды говорили маме о моей скитальческой жизни, я мог бы сделать попытку продержаться где-нибудь подольше. Но был осторожен, лучше смыться, чем попасть в их поле зрения.

Так я просуществовал до войны, мобилизовали меня в армию, стал я солдатом, и моя мать жила как все матери России, чьи сыновья были на фронте, общая беда уравняла всех.

Перед смертью мама тяжело болела, я привозил к ней лучших врачей, медсестра была при ней неотлучно. В этом ужасе болей, уколов, уже в бессознательном состоянии мама ждала меня и нашла в себе силы сказать: «Толя, я умираю». Она боялась смерти и в эти слова вложила всю свою надежду, свою веру в меня, в мою способность ее спасти. Не могла говорить, но эти слова держала в памяти, напряглась, сосредоточилась, чтобы не забыть, не упустить, и когда я вошел, произнесла их, не глядя на меня, обложенная подушками, бледная, с неприбранными седыми волосами – сидела, опустив голову, как бы сторожа эти слова, и, не поворачивая головы, произнесла: «Толя, я умираю».

Я похоронил мать на Востряковском кладбище. Врачи сказали, что смерть ее была неизбежна, помочь нельзя было. И все же до сих пор я живу с чувством вины перед матерью: все ли сделал для ее спасения?

После смерти матери отец, в возрасте 77 лет, привез новую жену из Ессентуков, медсестру, бывшую фронтовичку. Через год она с ним разошлась, разменяв по суду комнату на Арбате, отец дожил свой век в крохотной комнатушке при кухне на Сретенке, в коммунальной квартире, работал инженером в каком-то тресте. Мне было жаль старика, и как-то я пригласил его пообедать со мной в «Гранд-Отеле» – лучшем московском ресторане того времени.

Отец мало менялся с годами, только еще сильнее облысел и уже почти совсем не слышал. Перед тем как нам подали рыбную солянку, вынул из портфеля бутерброд с докторской колбасой, который обычно брал на работу и в этот день взял с собой, выложил его на тарелку и съел вместе с супом. Помню, как оторопел официант, увидя это. Отец был все такой же: ничего не должно пропадать, он по-прежнему боролся с потерями на производстве и в быту.

Умер 80 лет от роду, врачи подозревали рак, вскрытие обнаружило язву двенадцатиперстной кишки, не увиденную рентгенологом.

В крематорий пришли два-три его родственника и один человек со службы – представитель трудового коллектива. Прах отца – Наума Борисовича Аронова – я захоронил в могиле матери.

4

Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, была раньше женской гимназией Хвостовых – семьи либерально настроенных педагогов. После революции по настоянию Луначарского ее директором оставили прежнюю владелицу – Надежду Павловну Хвостову. Те же остались и учителя, преподавалась латынь, древнегреческий, французский, учили бальным танцам, революционные праздники не отмечались, общественная работа не велась. Школа числилась под эгидой ЦЕКУБУ, в ней учились дети арбатской интеллигенции, родительский совет содействия («Совсод») был настроен далеко не просоветски. Школа давала хорошее образование, некоторые ее выпускники стали впоследствии видными учеными, но все в области технических наук, далеких от коммунистической идеологии. Впрочем, в сталинские времена многие из них вступили в коммунистическую партию, а один даже оказался членом ее Центрального комитета. Но эта трансформация произошла потом, а пока школу, ранее прогрессивную и передовую, стали считать реакционной и ретроградной.

В годовщину Октябрьской революции (не то пятую, не то шестую) преподавателю литературы пришлось прочитать нам «Двенадцать» Блока: «Гетры серые носила. Шоколад Миньон жрала… С юнкерьем гулять ходила, С солдатьем теперь пошла…» – как все это читать детям? Наконец он добрался до слов: «В белом венчике из роз – впереди – Иисус Христос…», посмотрел на нас, многозначительно поднял палец, но поспешил опустить его. Как объяснить присутствие здесь Иисуса Христа, тоже не знал, что-то мямлил до конца урока.

Учительница истории в тот же день на вопрос об ее отношении к революции ответила: «В гражданской войне против большевиков погиб мой муж-офицер, как я должна относиться к революции?» Не могла заставить себя говорить неправду, знала, что никто из учеников не донесет, время всеобщего доносительства еще не наступило.

Однако именно из-за того, что в то бурное, все ломающее время школа сохранила свои традиции, свой наивный дореволюционный либерализм, она осталась в моей памяти как нечто по-старинному добропорядочное и благоустроенное. Была атмосфера старой гимназии, где учителя всем ученикам говорят «вы», где главными предметами были литература, история, иностранные языки, рисование, пение, дикция… «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» Когда танцы заменили физкультурой, вела ее бывшая балерина, и гимнастика сопровождалась аккомпанементом рояля. На большой перемене продавщица в белом халате продавала сдобные булочки, рогалики – я до сих пор помню их вкус и запах. Дав рогалик дежурному, можно было во время большой перемены остаться в классе и «скатать» (переписать) у кого-нибудь невыполненное домашнее задание. Такого рода взятки брал Игорь Харитонов («Харя») – большой был обжора и охотно заменял других дежурных. По коридору парами прогуливались девочки, чистенькие, аккуратные, с косичками и бантиками. Популярными были стишки из дореволюционной пьесы «Иванов Павел»: «Царь персидский грозный Кир в бегстве свой порвал мундир… Укрощал бег конский сам Александр Македонский, коня назвал он Буцефал…» Любимая писательница, конечно, Чарская. Первые ученики: Чебышев – внук знаменитого русского математика, Антик – сын тоже знаменитого до революции издателя, братья Келдыши и другие будущие видные ученые. Я хорошо учился только по литературе и истории. Любил физкультуру. Напротив школы на другой стороне переулка была спортивная площадка, зимой заливали каток, летом играли в футбол. В 1929 году площадку отдали архитектору Мельникову, и он построил там свой уникальный дом в виде двух бетонных цилиндров с особыми шестиугольными окнами. Но это уже было после меня.

Между тем время шло, ввели нэп, страна быстро восстанавливалась, отменили продуктовые карточки, на Арбате появились частные магазины, снова возник Охотный ряд, и

здоровые красномордые молодцы в белых фартуках рубили на колодах мясо. На Смоленском рынке, где во время гражданской войны несчастные старухи в старомодных шляпах продавали сломанные замки и медные подсвечники, теперь стояли палатки, торговали продуктами, мануфактурой, обувью. У китайцев покупали игрушки – шарики на резинке, резные бумажные фонарики, пищалки «уйди-уйди», по дворам ходили татары-старьевщики: «Старье берем, старье берем», через черный ход молочницы доставляли жильцам по утрам молоко, мужики – зелень и картофель.

В Москве появились частные издательства, в нашей школе учился сын владелицы издательства «Никитинские субботники», на Арбате сохранилось издательство Сабашниковых, известный эстрадный артист Смирнов-Сокольский выпускал газету «Куда идти, кому жаловаться». В арбатских кинотеатрах «Художественный», «Карнавал», «Арбатский Аре», «Прага» в фойе перед сеансами чечеточники выбивали чечетку, припевая: «Два червонца, три червонца или сразу пять, за червонцы, за червонцы можно все достать», в цирке знаменитые клоуны Бим-Бом выходили на арену с портретами Ленина и Троцкого, обсуждали, куда их поместить, решали: одного – повесить, другого – к стенке, «к стенке» означало в то время расстрелять. Революция позволяла тогда смеяться над собой – в этом была ее сила.

Мое поколение выросло на книгах, телевидения не было, радиовещание только начиналось. Конечно, театры, кино. У нас на Арбате – Театр Вахтангова, знаменита была тогда «Принцесса Турандот». В одном из переулков возле Арбатской площади – театр «Габима». И были театры Мейерхольда, Таирова, Революции, ТРАМ, множество разных студий, выставки авангардного искусства. Но каждый день ходить в театр, кино, на выставки – накладно, да и времени не было. А книга всегда с тобой. Дорогу новой, послереволюционной литературе прокладывал самый ее оперативный жанр – поэзия. Многие писали тогда стихи. Даже одного нашего мальчика-третьеклассника напечатали не то в «Комсомольской», не то в «Пионерской правде» (в последующем он стал известным поэтом Евгением Долматовским). Мы ездили в Политехнический музей на вечера Маяковского, нам импонировал этот гигант-трибун, громовым голосом прославляющий революцию, остроумно парирующий реплики зрителей. Ездили в рабочие клубы, там выступали комсомольские поэты: Безыменский, Жаров, Уткин, Светлов, Голодный. Возле Арбатской площади, на Никитском бульваре, 8, был Дом печати, Маяковский выступал и там, но поговаривали, что больше времени проводит в бильярдной. Читали стихи Есенин, Мариенгоф, Рюрик Ивнев, Шершеневич.

На Арбате, на углу Староконюшенного переулка, в доме номер 27, в громадной квартире располагалось объединение писателей «Кузница», в этой же квартире многие из них и жили. Часто устраивались литературные вечера, читки, диспуты. Вход свободный, я туда захаживал – от моего дома это в двух кварталах. Как-то, перед тем как пойти, я позвонил и спросил, кто у них сегодня читает. Мужской голос назвал неизвестную мне фамилию и значительно добавил: «В обсуждении примет участие Александр Серафимович. А кто спрашивает?» На его вопрос я, естественно, не ответил, положил трубку и решил пойти: «Железный поток» только что вышел, имел успех, интересно посмотреть на его автора.

Комната большая, народу мало, «Серафимович, к сожалению, не сумел приехать». Сидевший за председательским столиком человек в пенсне, с пышной шевелюрой, ниспадавшей на воротник помятого пиджака, поминутно спрашивал:

– Товарищи, а кто звонил полчаса назад?

Этот же вопрос задавал каждому входящему: «Вы звонили, спрашивали насчет обсуждения?»

Даже во время читки то и дело недоуменно вопрошал:

– Кто же все-таки звонил?

Был этим очень озабочен, и все были озабочены: возможно, звонило какое-то видное лицо.

Ясно – речь шла о моем звонке, я, конечно, молчал, но был поражен, что такое незначительное обстоятельство может обеспокоить писателей, людей известных, свободных, независимых, так сказать, «учителей жизни», духовных наставников. Этот эпизод заронил тогда во мне сомнение в избранности писательской личности, оно укрепилось, когда я сам вошел в эту среду. Однако не поколебало мою любовь к литературе.

Мы продолжали ходить на выступления поэтов, диспуты и литературные вечера, лекции политических лидеров, новая жизнь кипела и бурлила вокруг. А наша школа по-прежнему жила по своим законам. Конечно, ничего антисоветского, просто молчаливое неприятие действительности. То, что происходило вне ее стен, даже не обсуждалось. Естественно, долго так продолжаться не могло. В «Правде» появился фельетон Михаила Кольцова «Драма в школе» – один из наших учеников покончил жизнь самоубийством. На смену Надежде Павловне Хвостовой пришла новая заведующая – член партии, из других школ в нашу перевели несколько комсомольцев-старшеклассников.

Среди них самой яркой личностью был Гриша Эйдинов, сын бурового мастера из Баку, типичный комсомолец начала двадцатых годов, летом – в кожаной куртке, зимой – в длинной кавалерийской шинели и кубанке, впрочем, вежливый, когда надо – благожелательный. Он сразу изменил общественную атмосферу, организовал комсомольскую ячейку, создал самоуправление, в школе стали отмечать революционные праздники.

Действовал по-большевистски. При выборах ученического комитета старшеклассники задумали провалить комсомольский список и провести свой. Гриша собрал сначала учеников первой ступени, малыши единогласно утвердили предложенный им состав. Собрание старшеклассников уже значения не имело – их было меньшинство. На обвинения в незаконности таких выборов Гриша ответил, что зал не вмещает всех учащихся, не кричал, не митинговал, говорил спокойно, рассудительно, убежденный в своей правоте, и мы, его сторонники, пионеры и комсомольцы, тоже были убеждены в нашей правоте: не выбирать же в учком антиобщественников?!

Так же спокойно и рассудительно доказал Гриша на собрании родителей, что родительский совет содействия надо переизбрать: его деятельность противоречит линии партии в области народного образования. Все отлично поняли намек этого парня в кожаной куртке и безропотно переизбрали совет, включив в него трех коммунистов и двух рабочих, которые нашлись среди родителей.

Как-то в школу пригласили старика француза – доживавшего свой век в Москве участника Парижской коммуны. Чтобы ученики не разбежались после уроков, Гриша приказал запереть вешалку, закрыть двери, никого не выпускать. Встреча состоялась. Принуждать людей ходить на собрание безнравственно? А пренебрегать памятью героических парижских коммунаров, расстрелянных у стены Пер-Лашез, – это нравственно? Так рассуждали мы тогда. И я так рассуждал. И все же смущали испуг и растерянность, которые видел я на лицах учителей, многих учеников, особенно девочек – мы внушали им страх. Я старался подражать Грише – не кричал, уговаривал, убеждал. Но не получалось, как у Гриши: в его голосе была особая тональность, которой я не владел. Однажды он мне насмешливо сказал: «Либеральничаешь?» Вроде бы беззлобно сказал, но со значением, он все говорил со значением.

Мы во всем поддерживали Гришу, были его верным и преданным окружением, он олицетворял для нас новую, революционную мораль, находил время для каждого, внимательно выслушивал, давал ненавязчивые советы, ободряюще улыбался, у него были небольшие карие глаза, то ли усталые, то ли грустные, мясистый нос, откинутые назад черные прямые волосы. В лице была некая асимметрия, может быть, из-за чуть скошенного рта и чуть отвислой нижней губы. Нам нравилось, что он с Кавказа, рассказывал о Сураханах, Балаханах,

Биби-Эйбате, нефтяных промыслах, о бакинском пролетариате, о двадцати шести бакинских комиссарах, убитых англичанами…

В декабре 1925 года покончил с собой Есенин. Его тело привезли из Ленинграда. Я и еще несколько ребят пошли на панихиду в уже упомянутый мною Дом печати на Никитском бульваре. На фасаде дома висел большой плакат: «Умер великий поэт». Народу было много. После панихиды гроб вынесли, и многолюдная похоронная процессия двинулась по Никитскому и Тверскому бульварам. Всю дорогу гроб несли на руках, два раза обнесли вокруг памятника Пушкину. На Ваганьковском кладбище опять выступали с речами. Как и в Доме печати, я их не слышал, там я стоял во дворе, здесь – далеко от могилы. Я знал, что у Есенина было много поклонников, но и много врагов, называвших его «кулацким поэтом», преследовавших и бранивших его в печати… «Но, обреченный на гоненье, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть». Я знал, что он пьянствует, устраивает скандалы, но любил Есенина, грусть его поэзии, чудесное сплетение слов… «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне…», «О Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску»… Пронзает сердце.

Смерть Есенина взбудоражила молодежь. Этого не могла скрыть и затушевать даже мощная государственная пропагандистская машина. Были случаи самоубийств, были собрания, выступления, направленные против режима, толкнувшего на смерть лучшего поэта России. Комсомольский поэт Иосиф Уткин, и тот написал: «И кроме права жизни, есть право умереть». В нашей школе было объявлено, что ближайшее заседание литературного кружка посвящается памяти Есенина, и на него приглашаются все желающие.

Гриша тут же собрал комсомольцев, сказал, что заседание литкружка, посвященное Есенину, будет носить антисоветский характер и мы обязаны дать этому отпор, должны пойти на это заседание, выступить и защитить партийную точку зрения на творчество Есенина и на факт его самоубийства.

– Первым выступишь ты. Толя, – сказал он мне.

– Почему именно я?

– Ты вроде бы знаток Есенина. Даже был на его похоронах.

– На похоронах я был, но это не значит, что знаток.

– Пошел просто поглазеть?

– Нет, пошел потому, что считаю его крупным поэтом.

– Считаешь крупным? Значит, знаешь его. Вот и выступи, только с наших, партийных позиций выступи.

– Против Есенина выступать не буду.

– Это комсомольское поручение.

– Не комсомольское, а лично твое.

– Проверим! – Он обратился к собранию: – Как? Будем выступать? Дадим отпор антисоветчикам?

Вскочил Левка Бычков, Гришин подлипала. По школе ходило ироническое стихотворение про Гришу («Наш предучком и господин»), в нем были строчки: «И, ожидая приказаний, Бычков трепещет перед ним».

– Конечно, мы все обязаны выступить, – объявил Левка Бычков.

И хотя все молчали, Гриша сказал мне:

– Видишь, что думают другие комсомольцы?

– Я выступать не буду.

– Отказываешься? Хорошо! Обсудим и сделаем организационные выводы.

Однако давать отпор и делать «организационные» выводы не пришлось. Накануне заседания кружка Гриша опять собрал нас.

– Мы не пойдем на их заседание, не будем помогать им раздувать истерику в школе. Поболтают и разойдутся.

Неплохой тактик, Гриша сообразил, что ничего хорошего дискуссия не даст. Комсомольцы начнут цитировать казенные фразы из газет, а поклонники Есенина будут читать его стихи, победа окажется на их стороне. И не надо ввязываться. Умел маневрировать, не допускал поражений.

Школьный драмкружок вела Елена Павловна – сестра бывшей заведующей школой, в прошлом актриса. Ставили русскую драматическую классику. Играли ребята хорошо.

Гриша пригласил Елену Павловну на учком, любезно пододвинул ей стул и, улыбаясь, сказал:

– Елена Павловна, нам кажется, следует ввести в репертуар современные пьесы.

– Какие?

– Хотелось бы видеть на сцене жизнь рабочих и крестьян, а не только дворян и купцов.

Она пожала плечами. Пожилая представительная женщина с хорошей актерской осанкой.

– Мы ставим Островского, Гоголя, Грибоедова, Фонвизина, ничего другого они не писали.

– Есть и наши, советские авторы.

Она снова пожала плечами:

– Мы репетируем «Ревизора»… Не знаю… Может быть, в будущем году.

– Нет, Елена Павловна, мы хотим, чтобы к Первому мая вы поставили какой-нибудь революционный спектакль.

– Но до мая осталось два месяца, это невозможно! Пьесу надо выбирать, спектакль надо готовить. Я не могу делать кое-как, я ученица Станиславского.

– Значит, вы отказываетесь?

– В мае мы даем «Ревизора», ничего уже изменить нельзя.

– Что же, спасибо, Елена Павловна.

Она вышла.

– Поставим вопрос перед дирекцией, – сказал Гриша.

Я спросил:

– Думаешь, ее заставят?

– Пьесы советских авторов ей чужды, – ответил Гриша. – Ничего, найдут другого руководителя драмкружка.

Для меня Елена Павловна была неотделима от школы. И она права: за два месяца подготовить спектакль, да и неизвестно по какой пьесе, – невозможно.

– Как же можно ее заменить? – возразил я. – Она в школе много лет.

– Романовы правили Россией триста лет, и то прогнали. – Гриша помолчал, посмотрел на меня, сузив глаза: – Пора избавляться от интеллигентщины, Толя!

Замены руководителя драмкружка он добился.

Гриша пришел к нам в последний, девятый класс, окончив его, ушел на комсомольскую работу и вскоре стал секретарем самого престижного в Москве – Краснопресненского райкома комсомола. Мы этому не удивились – прирожденный политический лидер.

В начале тридцатых годов я, отовсюду исключенный, явился на разбор своего дела в Московский комитет комсомола. На диване, окруженный парнями и девушками, сидел Гриша в своей длинной шинели и кубанке. Пристально и сурово посмотрел на меня, отстранив этим взглядом, и отвернулся. Не хотел узнавать.

Гриша сделал большую партийную карьеру, стал секретарем Центрального комитета компартии Белоруссии, после войны его перевели в Москву, на ответственную работу в Совет Министров.

Мы встретились с ним почти через 35 лет. В декабре 1965 года он неожиданно позвонил мне, сказал, что читает мои книги, и предложил зайти, поболтать. Я работал тогда над «Детьми Арбата», успел опросить многих людей, знавших Сталина, подумал, что и Гриша наверняка встречался с ним, расскажет что-либо, и поехал в новый «цековский» дом на Ленинградском проспекте. Грише было уже под шестьдесят, появилось сановное брюшко, лицо стало одутловатым, отчего еще очевидней проступала его асимметрия. Он провел меня в большой полутемный кабинет, уставленный дорогими книжными шкафами, книги лежали и на столе рядом с газетами и журналами – кабинет крупного партийного деятеля, к тому же интеллектуала, участливо расспросил о матери, сестре, знал их когда-то. Зашел разговор и о Хрущеве.

– Тысячи вредителей за десятки лет не могли бы нанести столько вреда стране, сколько нанес Никита, – сказал Гриша. – Он оплевал самый героический отрезок нашей истории. Я знаю, Толя, ты пострадал, многие пострадали, и все же это было великое время. Классовая борьба была, есть и будет. Все разговоры о мирном сосуществовании с буржуазией – ерунда. Если мы им будем уступать, они будут наступать.

Как и в юности, он говорил спокойно, не повышая голоса, но, глядя на Гришу, я вдруг подумал, что асимметрия лица, отвислость губы иногда признаки некой психической аномалии даже у людей одаренных, а простота, сердечность, участливость – мимикрия, способностью к которой обладают «сдвинутые» натуры. Поэтому и сумел так приспособиться. Вокруг него падали и сослуживцы, и родственники, а он уцелел, хотя по своей интеллигентности никак, казалось, не вписывался в среду партийных аппаратчиков, значит, умел держаться так, чтобы ничем не уязвлять их посредственность. Начинал как человек яркий, но быстро сообразил, что в сталинской системе яркие личности сгорают мгновенно. За эти десятилетия его ум закостенел в привычных догмах. Другим он быть не мог. А возможно, и не хотел зачеркивать свою жизнь.

– Ты встречался со Сталиным?

– Пройдут годы, и люди будут помнить только его победы.

Это все, что он сказал о Сталине.

Больше мы не виделись.

Он умер в 1977 году. Панихида в 3-м доме Советов на Садово-Каретном, по среднепартийному разряду, умильно казенные речи, родственники возле гроба.

Почему я приехал сюда?

Вместе с ним уходила из жизни часть моего детства, моей юности, он был одним из немногих, кто сохранился. То страшное тридцатилетие мы прошли разными дорогами. Его путь был мне глубоко чужд, но этим путем шел не он один. Он олицетворял *перерождение* идеи, в которой я вырос. Воскреснет ли идея или перерождение приведет к ее краху – этого я тогда не знал.

5

Бывшую Хвостовскую гимназию не удалось переделать на советский лад: других учеников на Арбате не наберешь, всех педагогов не заменишь. Из девятилетки ее превратили в семилетку, а потом и вовсе расформировали. В 1926 году по окончании седьмого класса я перешел в другую школу.

Завершался революционный период советской истории. С двадцать седьмого года началась эпоха антиреволюции, приведшая в итоге к крушению Советского государства. Но социальная революция не обрывается в один день, даже если истребляются ее руководители. Революционные преобразования надолго внедряются в сознание и быт людей.

Восьмой и девятый классы я закончил в московской опытно-показательной школе-коммуне (сокращенно МОПШКа, учащиеся называли себя «мопсами»), находилась она во 2-м Обыденском переулке на Остоженке. Создал ее старый большевик Лепешинский как коммуну комсомольцев, вернувшихся с гражданской войны. Юные солдаты революции учились грамоте, начиная с азов, ходили в наряд, несли патрульную службу, воевали с бандитами, хулиганами, работали с беспризорными. Наш соученик Костя Ерофицкий был одновременно секретарем Хамовнического райкома комсомола.

Вскоре школа стала уникальным, единственным в своем роде учебным заведением, подчиненным непосредственно Народному комиссариату просвещения РСФСР. Школу возглавил выдающийся советский педагог Моисей Михайлович Пестрак, преподавали Березанская, Перышкин, Кабо – авторы учебников, знакомых многим поколениям школьников, – новаторы, прививавшие своим ученикам вкус к самостоятельной работе, самостоятельному мышлению. Занятия начинались в девять утра и кончались в шесть вечера. Первая половина дня – самостоятельная работа в кабинетах над заданной темой. После обеда классные занятия с преподавателем. К сожалению, литература сводилась к примитивной социологии: герои «Мертвых душ» – небокоптители, Гамлет – выразитель рефлексирующей буржуазии. Уроками пения манкировали, танцы почитались мещанством. И только учитель рисования самоотверженно пытался приблизить к искусству этих, хотя и молодых, но суровых людей, все оценивавших с точки зрения практической полезности делу социализма и мировой революции.

Недостаток эстетического воспитания восполняли мы сами: много читали, ходили в театр, в кино, была и собственная художественная самодеятельность, распространенная в те годы «Живая газета». Руководил ею старшеклассник Яша Полонский, играл на рояле – самоучка, сочинял стихи, подбирал к ним музыку – причудливую смесь революционных песен, вальсов, старинных романсов, мелодий оперетт. Строй «Живой газеты» – мальчики и девочки (рубашки и кофточки белые, брюки и юбки – черные) – выходил на сцену под звуки марша, декламируя:

Мы, сотрудники газеты,
Не артисты, не поэты,
С мира занавес сдерем,
Всем покажем и споем.
Что в Марокко? Все морока!
Что у вас сейчас под боком,
Как во Франции дела,
Как экскурсия прошла,
В школе что теперь у нас,
Как в Италии сейчас?

Что в деревне? И короче:
Обо всем ином и прочем!

Затем, опять же под музыку, следовали всякие построения, пирамиды и опять декламация. Такое было веселое и живописное зрелище. «Живая газета» выступала часто, Яша обновлял репертуар, сочинял тексты быстро, разукрасил своими стихами даже столовую:

Перестаньте шуметь!
Бросьте разговаривать!
Пищу надо переваривать.
Тише эти, ша – и те!
Вы жевать мешаете!

Способный был парень. Погиб на фронте во время Отечественной войны.

Время шло. Кончали школу и уходили первые ее воспитанники-коммунары, в интернате в Мертвом переулке их оставалось человек пять-шесть. Остальные ученики были приходящие, жившие дома. Высокий уровень преподавания сделал школу одной из лучших в Москве, обучать там своих детей стали многие видные государственные деятели – невдалеке были Кремль, 5-й дом Советов на Грановского, позднее и Дом на набережной. Однако руководители школы не хотели превращать ее в элитарную и набирали детей рабочих Москворецкой текстильной фабрики и других ближних предприятий, традиции и образ жизни, заложенные в школе коммунарами, сохранились на долгие годы.

Мы сами раздавали еду в столовой, мыли посуду, убирали классы и двор, чистили снег, сажали деревья, кололи дрова, работали в столярной, слесарной и переплетной мастерских, для получения «трудовых навыков» проходили производственную практику на заводах и фабриках. Тон школьной жизни задавала комсомольская организация. По-прежнему царил дух коллективизма, бескорыстия, нетерпимости к карьеризму и себялюбию. Два раза в году устраивались «самохарактеристики», когда каждый комсомолец обсуждался на собрании ячейки: каковы его достоинства и недостатки, моральные качества. Процедура не слишком приятная – сиди и слушай, как тебя честят. Но если чувствовали в выступлении личную неприязнь, кричали: «Личные счеты! Личные счеты!» Умели быть беспристрастными.

В коридоре стояли стеллажи с открытыми ящиками, мы их называли «клетки». Каждый ученик имел свою клетку, где оставлял сумку, книги, тетради, забирая только нужное для очередного занятия. В одну клетку подбросил письмо ученик восьмого класса Ян Дзержинский, сын знаменитого чекиста, внешне, однако, не похожий на своего сурового отца: невысокий, полноватый, неуклюжий мальчик в очках, застенчивый, даже робкий, «тюфячок». «Кремлевских» мы не слишком охотно принимали в комсомол, нам казалось, что бытовое благополучие придает им некую буржуазность. В конце концов, конечно, принимали. И Яна Дзержинского приняли. Его письмо было озаглавлено так: «Всем, кто захочет читать». Ян писал, что его отец был великий человек, а он, Ян, чувствует свою неспособность приносить пользу обществу, свою ненужность: письмо подростка, трудно переносящего переходный возраст. Оно стало предметом обсуждения. Никакой насмешки, просто диспут о значении великих и обыкновенных людей, в равной степени нужных человечеству. Дальнейшей судьбы Яна я не знаю, вроде бы она сложилась благополучно.

Среди оставшихся в интернате «коммунаров», в сущности, уже взрослых парней и девушек, двое – Занегин и Леонова – жили как муж и жена. Ему восемнадцать, ей – девятнадцать, поздно начали учиться, поздно заканчивали школу, носили защитного цвета форму «юнгштурма» – военизированной молодежной организации немецких коммунистов, – костюм, популярный тогда у московских комсомольцев. Ребята были авторитетные,

так сказать, хранители традиций, но их хождение по коридору в обнимку, открытость их отношений противоречили нашим представлениям о любви, об интимности этого чувства. Педагоги не вмешивались – через несколько месяцев Занегин и Леонова уйдут из школы, вместе с ними уйдет и этот рудимент старой комсомольской коммуны. Мы к их «телячьим нежностям» относились иронически, но помалкивали.

Однажды Леонова получила телеграмму без подписи: «Раскаиваюсь зпт люблю по-прежнему зпт встретимся обычно». Рассвирепевший Занегин потребовал выяснить, чья это «провокация». Безусловно, это была проделка одного из «мопсов», однако никто не признался. Мы пытались убедить Занегина, что телеграмма не более как глупая шутка, не стоит обращать внимания. Но он не уступал, требовал расследования.

Обсудили инцидент на бюро комсомольской ячейки. Директор школы Моисей Михайлович Пестрак сказал:

– Шутник не признается, это свидетельство его трусости. Но в школе учатся дети, и афишировать у них на глазах свои уже взрослые отношения Занегину и Леоновой не следует.

Мы поддержали «Мойшу» (так дружески и ласково называли за глаза нашего директора). Конечно, Занегин и Леонова любят друг друга, мы уважаем их чувства, но школьный коридор не место для объятий.

Занегин и Леонова посчитали наши доводы «мещанством». Впрочем, вскоре они кончили школу, и проблема их поведения исчезла. Мы остались друзьями. Просто мы были люди разного возраста и другого поколения. Мы не были ханжами, но и не допускали распущенности, а также того, что почитали «пошлостью»: игр в фанты с поцелуями, любовных записочек, как бы нечаянного «тисканья и щупанья». Бывала открытая дружба, взаимная симпатия, их не скрывали, но и не бравировали ими. Мальчик провожал девочку домой, помогали друг другу делать уроки, – «они дружат», так формулировали мы их отношения, не допуская злословия, сплетен, вымыслов, домыслов.

Я дружил с Леной Розенгольц. Очень красивая девочка, на один класс младше меня, черноволосая, с матовым лицом и чуть вывернутыми ярко-красными губами. В ее облике, манерах, улыбке, глубоком и часто печальном взгляде исподлобья было что-то мило застенчивое: недавно вернулась из-за границы, попала в непривычную обстановку, не освоилась с нашим образом жизни. И вот влюбилась в меня. Я был смазливый мальчишка, к тому же комсомольский вожак, твердый, уверенный, убежденный. Может быть, ко мне, как к более сильному, ее и потянуло. И она мне нравилась. К тому времени я был уже не мальчик, а Лена в свои шестнадцать лет выглядела зрелой девушкой, чувственной, притягивающей. Еще с двумя мальчиками из ее класса мы составили компанию, в которой я был вроде как главный, она – моя подруга, они, так сказать, наше окружение. Встречались у нее, в 5-м доме Советов на улице Грановского. Отец ее, Аркадий Павлович Розенгольц, был народным комиссаром внешней торговли, видным государственным деятелем, старым членом партии. Я его никогда не видел, как узнал потом, он с матерью Лены разошелся вскоре после возвращения из Англии, где был нашим послом.

Мы сидели у Лены, болтали, ставили пластинки Вертинского, Лещенко… «Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый, развевайся, чубчик, по ветру…» Лена привезла пластинки из-за границы – недоступные нам эмигрантские песни, мы слушали их с удовольствием. Квартира большая, у Лены отдельная комната, и в подъезде швейцар спрашивает, к кому идете, звонит наверх – можно ли пропустить… Все это придавало дому некую сановность, а привезенные из Англии мелочи – европейскость… Но чопорности не было, мы себя чувствовали свободно, швейцар в подъезде – правильно, живут здесь народные комиссары, крупные военачальники, мало ли кто может сунуться, заграничные безделушки – почему не привезти, не бросать же их в Англии? Сами мы жили в коммунальных квартирах, пользовались только своим, советским, но отчужденности от правящей элиты тогда не чувствовали, были объеди-

нены общей идеей, уважали своих руководителей, в прошлом таких же рабочих или интеллигентов, как наши родители, понимали, что ответственность, которую несут они за страну, требует сносных бытовых условий; привилегиями мы это не считали, привилегии появились позже, когда власть отделилась от идеи, а правящая элита от народа.

И Лена держалась как равная, была сдержанна, не болтлива, больше слушала, казалось, тяготилась правительственным домом, просторной квартирой, отдельной комнатой, никогда не говорила о своих соседях. Помню, только один раз упомянула громкое имя.

В Москву приезжали знаменитые американские киноактеры – Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд. Поклонники запрудили площадь Белорусского вокзала, забросали их цветами. Эту встречу мы смотрели в кинохронике. И когда вышли из кино, Лена рассказала нам: руководитель советского кинематографа Шумяцкий предложил Дугласу и Мэри сняться в совместном советско-американском фильме. Фербенкс согласился, но запросил чуть ли не миллион долларов. Шумяцкий такую сумму отклонил, заметив при этом шутливо, что его, Шумяцкого, оклад составляет всего 225 рублей, что по официальному курсу вроде бы равнялось 200 долларам. Фербенкс был поражен: Шумяцкий, в его представлении «хозяин», владелец кинематографии огромной страны, получает всего 200 долларов в месяц.

Несколько минут он молчал, потом хлопнул Шумяцкого по плечу и ободряюще сказал: «Ничего! Форд тоже с этого начинал».

Мы смеялись. Дуглас Фербенкс не знает даже, что кино у нас не частная, а государственная собственность, что у нас есть партмаксимум, то есть зарплата любого коммуниста, будь он даже наркомом, не должна превышать зарплаты квалифицированного рабочего, смеялись над тем, что председателя Совкино Шумяцкого Дуглас Фербенкс сравнивает с Фордом.

Лена рассказала про этот случай со своей стеснительной улыбкой, но я заметил: ее смущение было сильнее обычного, боялась, что этим рассказом подчеркивает свое знакомство с Шумяцким.

Меня очень трогала ее застенчивость, робость, незащищенность, именно из-за этого наши отношения остались платоническими. Я вырос на арбатском дворе, знал, *как* это делается, видел, что Лена ждет, ожидание я читал в ее глазах, в тепле ее руки, в том волнении, которое испытывала, когда я прикасался к ней. Волнение испытывал и я и все же не мог перейти черту. Не потому, что мы все время были на людях, я мог прийти к ней один, она могла прийти ко мне, молодые люди, любящие друг друга, находят время и место… И все же перейти черту не мог. Мне казалось, что я воспользуюсь ее робостью, воспользуюсь силой своего характера, тем, что притягивало ее ко мне.

Наш роман не состоялся. После школы мы несколько раз виделись, потом мне сказали, что она пошла работать на завод чуть ли не сварщиком, потом вышла замуж. А уже после войны, вернувшись наконец в Москву, я узнал, что Лену еще в середине тридцатых годов застрелили в гостинице, в Сухуми. Как, почему, за что – до сих пор мне неизвестно. Но когда узнал о ее смерти, понял, что еще в школе она предчувствовала свою обреченность; возможно, и я тогда неосознанно догадывался об этом, жалел ее, и это сдерживало.

Отца Лены, Аркадия Павловича Розенгольца, судили в 1938 году на процессе Бухарина – Рыкова. Он признался во всем, что от него требовали, был расстрелян, но, в отличие от других подсудимых, не просил о помиловании.

МОПШКа многое мне дала: умение самостоятельно работать, самостоятельно мыслить.

Жестокие времена революции, гражданской войны ушли в прошлое. Нам остались идеи интернационализма, равенства людей, братства народов, социальной справедливости,

презрения к роскоши, карьеризму, лицемерию, очень скоро все это пришло в столкновение с «новым временем».

Мне неизвестен ни один репрессированный ученик «реакционной» бывшей хвостовской гимназии, наоборот, многие стали членами партии, один даже членом ЦК. А многие выпускники МОПШКи пострадали в тридцатых годах. Не только дети репрессированных (например, расстрелянный шестнадцатилетний сын Каменева – Юрий, арестованные дочь Смилги – Таня, дочь Ломова – Нина, дочь Рухимовича – Лена), но и рядовые ученики. Юного бойца гражданской войны Костю Ерофицкого расстреляли в тридцать седьмом году, тогда же уничтожили и директора школы Моисея Михайловича Пестрака. И никто из «мопсов» не стал знаменитостью, не «выбился в люди», не вписался в антиреволюционную сталинскую систему. Мы были свидетелями внутрипартийной борьбы двадцатых годов. Как многие молодые люди того времени, мы сочувствовали оппозиции, она требовала права свободно выражать свое мнение, свои взгляды, требовала свободы фракций и группировок, боролась с аппаратчиками и бюрократами. Троцкий олицетворял для нас романтику революции и гражданской войны – организатор Красной Армии, блестящий оратор и публицист, яркая личность. Нам импонировало, что его сын Лев Седов живет в общежитии, как и другие студенты, жена заведует охраной памятников старины, мы были атеистами, но значение памятников архитектуры понимали. Росли в то время, когда имя Троцкого стояло рядом с именем Ленина, Сталина мы тогда не знали, он возник вдруг – главный аппаратчик страны. Мы уже тогда ощущали, как костенеет жизнь, наступает режим единомыслия. Троцкий взял из марксизма цель – братство народов, лозунг мировой революции «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Сталин взял только средства – классовая борьба, диктатура пролетариата – и превратил их в орудия тирании под лозунгом «Строительство социализма в одной стране».

В школе по рукам ходило напечатанное на ротаторе «Завещание Ленина». На мотив частушки «Добрый вечер, тетя Хая, вам посылка из Китая» мы распевали: «Добрый вечер, дядя Сталин, очень груб ты, нелоялен. Ленинское завещанье спрятал в боковом кармане». И еще на мотив «Аллаверды, аллаверды»: «Шутить не любит Джугашвили, секим башка, секим башка!..» И в конце: «Шутить не любит Джугашвили, хвала ему, хвала ему!»

7 ноября 1927 года, в день празднования 10-летия Октябрьской революции оппозиция устроила контрдемонстрацию. На углу Тверской и Моховой в окнах гостиницы «Националь» были выставлены портреты Троцкого, с балконов какие-то люди что-то выкрикивали, другие их оттаскивали, срывали портреты, толпа кричала: «Долой!», ревела, свистела, улюлюкала, Москва была настроена против «оппозиторов».

А 16 ноября застрелился сторонник Троцкого – Иоффе, видный партийный деятель и дипломат. Через два-три дня по школе пронесся слух, что к Новодевичьему кладбищу движется похоронная процессия. Я и еще несколько ребят побежали на улицу Кропоткина.

Мы поспели вовремя, процессия только появилась. За гробом шли Троцкий, Зиновьев, Каменев, другие руководители оппозиции, а за ними длинное шествие, растянувшееся по всей улице. Движение не прекратили, но молодые, энергичные ребята останавливали трамваи и автомобили, заставляли пропускать процессию. Милиции не было.

Мы присоединились к колонне. Долго стояли возле Новодевичьего монастыря, произошла заминка, не пускали, потом ворота открылись, все двинулись на кладбище.

От Московского комитета партии выступал Рютин, произнес стертые и в данном случае неуместные слова о единстве партии. Его освистали. Бедный Рютин! Через несколько лет он поймет, что такое Сталин, смело выступит против него и будет уничтожен. Речей Зиновьева и Каменева я не запомнил.

Запомнил Троцкого. Я видел его впервые. Копна черных с проседью волос, бородка клинышком, нервное, подвижное, выразительное лицо, острый взгляд голубых глаз из-под стекол очков или пенсне, не помню – все как на портретах, когда-то они помещались рядом

с портретами Ленина – два вождя Революции. Все знакомое. Новым был голос: неожиданно молодой и звонкий. «Революционер… Не подражайте ему в смерти, подражайте ему в жизни… Знамя Маркса и Ленина донесем до конца…» Эти обычные для того времени слова, произнесенные в мертвой тишине кладбища, перед многотысячной толпой, ловящей каждое его слово, звучали необычно, оглушительно, этот человек олицетворял интеллект Революции. В сущности, Интеллект и совершил Революцию. Теперь революция отказывалась от него.

Троцкий выступал последним, и это была его последняя речь в Советском Союзе. Через два месяца, в январе 1928 года, его выслали из Москвы в Алма-Ату, еще через год из Советского Союза в Турцию. Затем Франция, Норвегия и, наконец, Мексика, где в августе 1940 года ударом ледоруба по голове его убил агент НКВД Рамон Меркадер.

Быстрее расправился Сталин с последователями Троцкого в Союзе. Однако по другому сценарию. Зиновьев, Каменев и их сторонники признали ошибочность своих взглядов. За ними капитулировали и сподвижники Троцкого – Радек, Смилга, Преображенский, Пятаков, к ним присоединились ссыльные троцкисты, их возвращали из тюрем и ссылок, восстанавливали в партии, печатали их имена в «Правде».

Вряд ли эти люди изменили свои взгляды. Но быть врагами своей партии, в своем государстве, сидеть в тюрьмах и лагерях они не хотели. Сталин – плох, но ничего не поделаешь, «перед партией нет гордости», надо покаяться, признать ошибки, ведь это своя партия. Они не понимали, что *их* партии уже нет, есть организация людей, бездумно выполняющих волю начальства. Через несколько десятков лет, достигнув восемнадцатимиллионной численности, эта партия разбежится от одного окрика, от одного только вида поднятого вверх кулака.

Они не понимали, что их маленькие раскаяния – прелюдия будущих страшных показаний, вырванных под пытками. Их капитуляция помогла Сталину – смотрите, сами признаются! Со временем слово «троцкист» стало синонимом слов «контрреволюционер», «вредитель», «шпион», «диверсант», «убийца». Сталину удалось на долгие годы дискредитировать Троцкого в стране.

В ссылке я встречал троцкистов, тех, кто не отрекся от своих убеждений, не предал своего вождя. Обреченные, они доживали последние дни, но вряд ли представляли себе это – были молоды и верили в будущее. Не все были легки в общении – гонения, издевательства, тюрьмы, лагеря наложили свой отпечаток. И все же они были единственными непримиримыми и несгибаемыми противниками Сталина и его режима. Кроме них твердыми были осужденные за веру в Бога. Но те молча, терпеливо несли свой крест. А эти отстаивали свои человеческие и гражданские права. Среди них были рабочие, студенты, молодые специалисты, начитанные, мыслящие, романтики Революции. Помню их одухотворенные лица, скитальческую неприхотливость, как безбоязненно шли в тюрьмы и лагеря, и сравниваю с комсомольскими активистами сталинского и послесталинского времен – молодыми чиновниками с гладкими лощеными физиономиями и казенными речами. Теперь они, бизнесмены, банкиры, международные спекулянты, поносят советскую власть и социализм.

Вспоминается предсказание Троцкого: «Если правящую советскую касту низвергла бы буржуазия, она нашла бы немало готовых слуг среди нынешних бюрократов, администраторов, директоров, партийных секретарей, вообще привилегированных верхов. Главной задачей новой власти было бы восстановление частной собственности на средства производства и присвоение ее».

«Демократия», которую принесли народу выращенные Сталиным и его системой кадры, обернулась крушением государства, развалом страны, ее экономики, науки, культуры, обнищанием народа, разгулом национализма, войнами, невиданной преступностью.

В конце двадцатых годов партия и народ доверились Сталину, теперь потомки пожинают плоды их роковой ошибки.

6

По окончании МОПШКи в 1928 году я пошел работать на Дорогомиловский химический завод. Сразу поступать в вуз не мог: не имея производственного стажа, не получал бы стипендии.

Химическое производство – вредное, подросткам работать в цехе запрещено, мне до восемнадцати лет не хватало полгода.

– Исполнится восемнадцать, переведем в корпус, – сказали в отделе кадров, – а пока иди в дворовый подотдел, будешь территорию убирать.

Однако помимо уборки территории дворовый подотдел ведал также погрузкой и разгрузкой вагонов и платформ, работой на складах, подносом кирпича и других материалов ко вновь строящимся корпусам – завод расширялся. И не разбирались, сколько тебе лет, вкалывай, как все!

Вкалывали здесь люди без профессии, «чернорабочие», как их раньше называли, но теперь всякий труд у нас почетен, никакая работа не может быть черной, и потому именовались они «разнорабочими» – выполняли разную, не требующую специальной квалификации работу, были с бору по сосенке, перекати-поле, часто люди опустившиеся, пьяницы, неудачники, были ребята, судя по фамилиям, из дворян, хотели изменить свой социальный статус, были какие-то неясные личности, выбитые из привычной жизни революцией, гражданской войной, всеми бедами прошедшего десятилетия, включая коллективизацию и раскулачивание. В куртках и телогрейках, испачканных краской, мелом, алебастром, углем, вваливались в столовую, шумели, матерились. Аппаратчики из цехов, носившие чистые синие спецовки или халаты, получавшие молоко – «спецпитание за вредность», нас сторонились. И мы их не задевали: другая порода, рабочая аристократия. Конечно, они в тепле, в чистоте, зарабатывают хорошо, но обречены – доходят на своей химии, дышат газами и ядами производства. Мы работали на открытом воздухе, и все равно накашляешься за день, начихаешься: из труб валит рыже-желтый дым.

Иногда меня посылали в корпус на подсобную работу: что-то принести, вынести, передвинуть, переставить, очистить. Цеха светлые, просторные, полы кафельные, аппараты оплетены густой сетью трубопроводов – красных, черных, голубых, и запахи чего-то вроде знакомого, домашнего или больничного: уксуса, нашатыря, формалина, карболки. Аппаратчики передвигаются у гигантских колонн, отогревают трубы, подтягивают крепления, ведут записи у пультов или сидят, облокотившись о лабораторный столик, лица бледные, болезненные, бутылкой молока не спасешься. Я поражался их технической грамотности: с легкостью исписывают лист бумаги химическими формулами, перед которыми в школе у классной доски я стоял в тупом недоумении. Конечно, здесь тепло, чисто, это не барабаны с краской грузить на открытой платформе в дождь и в снег. И все же химия не для меня, не увлекает.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я не пошел в отдел кадров, не потребовал перевести в цех. Остался в дворовом подотделе, и послали меня в бригаду грузчиков-татар. Волжские татары – квалифицированные грузчики, вместе приехали, вместе уедут, работали только на погрузке-разгрузке вагонов, сдельно, барабаны с краской не вкатывали в вагон по сходням, как другие грузчики, а носили на спине: бегом-бегом, в затылок друг другу, а в барабане 80 килограммов, стремились побольше заработать, экономили на всем, в столовую не ходили, жевали что-то принесенное с собой в тряпочке, все заработанное отсылали в деревню, жаловались на налоги, я писал им заявления в сельсовет. Потом вдруг уехали на родину в Ульяновскую область: началась коллективизация. Работа с ними была тяжелая, ломовая, таскал барабаны на спине, как выдержал – не знаю. Но не жаловался, не хотел выглядеть слабаком. Татары уехали, и я попал в гараж, грузчиком на машину АМО-Ф-15,

мыл ее, чистил, за это шофер Илюшка давал мне руля. Купил я учебник Грибова «Курс автомобиля», выучил, сдал экзамены, получил водительские права. И появилась у меня профессия – шофер.

Мой первый трудовой опыт был нелегким, но полезным. Уже превращалось в пустые слова то, на чем выросло мое поколение, жизнью завладели новые люди, и я гордился тем, что я не среди них, тружусь как рядовой рабочий. Это было становлением характера – пригодилось потом в скитаниях, я узнал свой народ, неся его ношу.

Зарабатывал я на заводе хорошо, продуктовая карточка рабочая, первой категории, жили сносно. С первой же получки мама заставила меня купить костюм, темно-синий, бостоновый, так что я был одет, обут, и мать одета, обута, исправно платит квартплату.

Рая кончила школу с чертежно-конструкторским уклоном, работала в Моспроекте, приносила какие-то деньги матери, эти деньги потом к ней возвращались: нужны туфли – и такие и сякие, и фетровые ботики нужны, и платья, и пальто. «Девочка работает в солидном учреждении, не может выглядеть замарашкой», – говорила мама. Конечно, мои бывшие соученицы одевались попроще, но я в жизнь сестры не вмешивался, наши пути разошлись еще в школе, она презирала все советское, по ее убеждению, бесчестное, хамское, всякие разговоры на эти темы пресекала. Я перестал интересоваться ее жизнью, она – моей, наше общение ограничивалось тем неизбежным минимумом, когда люди живут в одной семье и изредка видят друг друга. Как и я, она не любила отца, но в объяснения с ним не вступала, просто не замечала, игнорировала, не отвечала, демонстративно выходила из комнаты. Отец свое возмущение, как всегда, вымешал на матери.

Рая была одарена во всем: в музыке, языках, литературе, физике, математике, восьми или девяти лет сдала экзамен в Гнесинское училище. Ей предсказывали блестящее будущее, но блестящего будущего не получилось. Противоречивая была натура. Властность, категоричность, часто нетерпимость странным образом уживались рядом с утонченной женственностью, уступчивостью, иногда даже покорностью. Потрясающая работоспособность – с многочасовыми сидениями в ресторанах, болтовней в компаниях, бурные увлечения кончались мгновенными разочарованиями. И все это на фоне поразительной красоты: выше среднего роста, стройная, с неторопливыми движениями, гордо посаженной головой с мягкими каштановыми волосами, тонким овалом нежного лица, на котором прежде всего поражали громадные светло-карие, чуть раскосые глаза.

Ее внешность, талант, незаурядность притягивали. В доме появились элегантные молодые люди, менялись книгами, что-то брали у Раи, приносили ей, увлекались тогда Хемингуэем, Прустом, Селином, Джойсом, в общем интеллектуалы, ходили в консерваторию, в рестораны «Метрополь», «Националь», «Савой», там собиралась изысканная публика, демонстрировали туалеты, танцевали модные западные танцы.

В этом кругу вращалась теперь Рая. Этот круг еще больше разделил нас, мы принадлежали к разным слоям общества. Я – к рабочему классу: грузчик на химическом заводе, таскаю на спине барабаны с краской, она – к молодой московской интеллигенции, чистой, хорошо одетой, воспитанной.

Испытывал ли я неприязнь к ним? Не могу точно сказать, плохо помню свои ощущения того времени. Но допускаю, что некоторое неприятие было. Мы жили теориями XIX века: материальные ценности производит рабочий класс, физический труд самый почетный, а интеллигенция – промежуточная прослойка, при капитализме служит буржуазии, при социализме – пролетариату. Государство наше рабоче-крестьянское, рабочие имеют все преимущества при поступлении в партию, в комсомол, в учебное заведение, в получении комнаты или квартиры, в снабжении продуктами и товарами, даже в правосудии: «Учитывая пролетарское происхождение, наказание считать условным».

На самом деле диктатура была не рабочего класса, а партии, а потом и одного человека – Сталина. Рабочие жили в бараках – но ведь индустриализация, построим заводы и фабрики, а уж потом жилища, надо потерпеть, снабжение отвратительное, по карточкам – ничего, создадим мощное коллективное сельское хозяйство – будет изобилие, молочные реки, кисельные берега. И рабочий класс вкалывал на заводах и фабриках, на стройках пятилетки, в Магнитогорске и Кузнецке, возводил заводы, в голоде и холоде создавал великую державу, но, несмотря на все красивые слова и звонкие песни, «гегемоном» себя не чувствовал, видел, что не он, а другие решают его судьбу. Одна из причин крушения Советского государства в том, что оно лишило себя социальной опоры.

Но тогда, в начале тридцатых, хотя и отмирая, инерция двадцатых еще действовала. Вероятно, некоторое пренебрежение рабочего человека Раиными друзьями во мне было, я не знакомился с ними. Знал из них только Катю Кунькову.

Еще в школе Катя Кунькова была ближайшей Раиной подругой, подругой и осталась. Смазливая, разбитная, вульгарная девчонка. Рая помогала ей готовить уроки, тянула, после школы устроила к себе в Моспроект, опекала. Катя была ее неизменной спутницей на концертах, в кино, в ресторанах, на всяких вечеринках. Что их сблизило? Рая – тонкая, талантливая. Катя – «цветок помойки», шумная, беспардонная, рассказывала антисоветские и неприличные анекдоты, могла и выматериться, Рая этого не терпела, при ней Катя сдерживалась, но иногда вырывалось «словечко», Рая морщилась: «Выбирай выражения. Катя».

Как-то Рая не вернулась домой, мама всю ночь не спала, хотела звонить в милицию. Рая явилась утром, как ни в чем не бывало, объявила:

– Задержались поздно в гостях, заночевала у Кати.

Жалея мать, я впервые вмешался:

– Что у тебя общего с Катей?

– Это мое личное дело. Я ведь не интересуюсь твоими знакомыми.

Я думаю, дружба с Катей была для нее формой эпатажа благополучных одноклассниц с их мамами и папами, академиками и профессорами, за хорошие пайки верой и правдой служившими этому постылому государству. К тому же Рая любила верховодить, покровительствовать, требуя при этом безоговорочного подчинения, любила, чтобы ловили каждое ее слово, что Катя искренне и делала. А после школы Раина ресторанная жизнь, модные туалеты были не только данью молодости и красоте, но и протестом против тусклой коммунальной жизни с очередями, жалкой столовой в учреждении, гнетом казенной идеологии, всеобщим хамством и грубостью.

Мама терпеть не могла Катю.

– Она научила Раю курить, таскает по ресторанам, свяжет с каким-нибудь подонком, такую красавицу, умницу, талантливую, вокруг нее приличные люди, может сделать блестящую партию.

Рая вышла замуж, но не за приличного интеллигентного человека, как надеялась мама, а за известного московского бильярдиста Виктора Шердиса, обрусевшего мариупольского грека.

В доме возник человек лет тридцати, коренастый, крепкий, общительный, щедрый, типичный делец, формально занимался установкой медицинских электроприборов, фактически – профессиональный бильярдист из «Метрополя», одевался у лучших портных, и Рая одевалась у лучших портних, отдыхали в Крыму и на Кавказе, он был неглуп, сообразителен, находчив, масса знакомых, и все знаменитости: артисты, писатели, музыканты, ездил с ними на охоту, стрелок был отличный, чинил ружья и приторговывал ими. Грамотность – шесть классов, ничего не читал, даже газет. Дела, дела, договоры, фининспекторы, а главное – бильярд.

Почему именно его Рая выбрала своим мужем? Виктор нигде и никому не служит, независим от этого государства, с ним будет независима и она. Видимо, таков был ход ее мыслей. И, безусловно, опять эпатаж. Другие стремятся выйти замуж за иностранца, за известного журналиста, дипломата, писателя, а вот ее муж – простой электромонтер. Он играет на бильярде, но это не запрещено, многие играют.

Дальнейшее происходило без меня, я вернулся в Москву через много лет. Рая разошлась с Виктором, он не давал согласия на развод, скандалил, грозился ее убить, не хотел выписываться из квартиры, но Рая показала свой характер, заставила его уйти.

Потом Рая вышла замуж за Сашу Тарасенкова, талантливого архитектора, прекрасного рисовальщика, высокого, красивого славного парня, мягкого и деликатного. Любила его, кончились рестораны. Катя Кунькова вышла замуж за иностранца, кстати, тоже за грека, но миллионера, уехала за границу. В 1940 году Рая выдержала труднейший конкурсный экзамен на механико-математическое отделение Московского университета, казалось, вступила наконец на путь, предназначенный ее дарованием. Однако в сорок первом началась война, Сашу в армию не взяли: у него обнаружили туберкулез. Рая эвакуировалась из Москвы, но не с университетом, а с Сашиным учреждением, не могла оставить его одного, больного, из университета перевелась в Строительный институт на заочное отделение.

После войны они разошлись. На мой вопрос «почему?» мама ответила: «Она его разлюбила». Однако Раин характер уже был для меня очевиден. Ей всегда необходимо было осознавать свое превосходство – с Шердисом это было превосходство интеллекта, с Тарасенковым – превосходство характера. Но со временем недостаток интеллекта у одного и характера у другого начинали ее тяготить, и браки распадались.

Работая в Моспроекте, Рая выдвинулась, возглавила мастерскую, по ее проектам было многое построено в Москве, Варшаве, даже в Индонезии. Любила рассказывать, как французские инженеры, ознакомившись с каким-то ее техническим решением, были убеждены, что она заработала на нем миллионы. Усмехалась. Единственной ее наградой была однокомнатная квартира в блочном доме на окраине Москвы, на улице Каховка, где весной и осенью стояла непролазная грязь и к подъездам люди добирались по брошенным на землю доскам и фанеркам. Квартиру ей дали взамен ее комнатки в центре, на Арбате, хотела иметь отдельное жилье: всю жизнь прожила в коммуналке.

Рая была человеком честным, справедливым, смелым, с сильным административным нажимом, очень требовательная, на работе ее ценили, уважали, даже побаивались, но что любили – сомневаюсь. На службе она опекала одного мальчика, он был намного моложе, потом женила его на какой-то девочке и опекала уже всю семью – и его, и жену, и их ребенка. Ее личная жизнь кончилась, осталась только работа. Требовала того же и от подчиненных, забыв, видимо, что у молодых есть и другие интересы. Раина одержимость, полезная для дела, становилась невыносимой для сослуживцев и для начальства: ее невозможно было заставить сделать или подписать то, что она считала неправильным. Никакие «особые соображения» ее не трогали. За строптивость ее проучили, не включив в список представленных на соискание Ленинской премии за работу, в которой она принимала активное участие. Податливее от этого она не стала. Когда Рае исполнилось 55 лет, ее тут же отправили на пенсию. Одинокая, она доживала свой век на улице Каховка. Иногда ее навещал опекаемый ею мальчик с женой, навещал племянник, мой старший сын Алик, его мать – моя первая жена Ася, с ней Рая дружила. Как это ни странно, не забывал Раю ее бывший муж Виктор Шердис, состарившийся бильярдист, тоже одинокий, приносил подарки. Каким бы ни было их расставание, но для этого человека, игрока, дельца и авантюриста, сына мариупольского рыбака, жизнь с Раей была сказкой, эта сказка не забывалась.

Она редко теперь выбиралась в город, «в центр», как говорила, иногда по нескольку дней вообще не выходила из дома, в холодильнике был какой-то запас продуктов, в шкафу

обязательный запас сигарет «Ява», которые она курила и которые часто вдруг исчезали из продажи. Но по субботам, при любой погоде – гроза, дождь, снег – выходила из дома: знакомая киоскерша оставляла для нее все газеты, где были кроссворды. Она сидела обычно на кухне, располневшая, под глазами синяки, цвет лица нездоровый, обложенная газетами с кроссвордами, или читала, или решала какие-то сложные математические ребусы… Взгляды ее сильно переменились, наступило некое примирение с советской действительностью, она любила Россию, гордилась нашей победой в войне, гордилась тем, что создано, построено, – в этом была и ее доля, не зря прошла жизнь. Про Тито отзывалась неодобрительно:

– Сталин его сделал знаменитой личностью, а он изменил Сталину.

Воспоминаниям не предавалась. Когда я ее попросил рассказать о тридцатых годах, пожала плечами:

– Ведь я тебе все послала в Германию.

В 1945-1946 годах, служа в оккупационных войсках в Германии, я начал писать свою первую книгу «Кортик», и Рая прислала мне хронологию событий культурной жизни Москвы двадцатых и тридцатых годов (литература, театр, кино, живопись).

– Это была голая хроника – даты, числа, имена, а меня интересует быт, ведь я не был в Москве в это время.

Она раскладывала пасьянс, ответила не сразу.

– Быт – это широкое понятие, люди жили по-разному.

– Ну, хотя бы быт людей, в кругу которых ты вращалась.

Она не отрывала глаз от карт.

– Хочешь меня описать?

Я засмеялся:

– Один писатель сказал коллегам: «Цените своих родных, ведь с них вы пишете своих персонажей».

– Разве есть женщина, которая расскажет о себе все?

– Речь не о тебе, а о женщинах того времени, приметах их жизни, как одевались, как развлекались…

– Твоя героиня моя ровесница?

– В общем, да.

– И как ее зовут?

– Варя.

– Если убрать первую букву и переставить местами остальные, получится мое имя.

Я был ошеломлен.

– Знаешь, это не приходило мне в голову.

– И кто она по профессии?

– Чертежница.

– А говоришь, не меня пишешь.

– Это формальные приметы сходства, вы – разные.

Она кончила пасьянс, смешала карты, собрала колоду.

– Я бы не хотела, чтоб ты описывал меня. Всей правды обо мне ты не знаешь, а быть представленной поверхностно не хочу. Люди скажут: вот какая у него была сестра…

– Повторяю, я пишу не тебя, а совсем другую девушку, единственное, что вас объединяет, – это время, в котором вы жили, и общество, в котором вращались.

– Вряд ли тебя интересует Моспроект, учреждение как учреждение, ты и без меня их знаешь. Ну, а компании, мои знакомые, рестораны, – она выразительно посмотрела на меня, – ты ведь тогда осуждал за них.

– Тогда – да, осуждал, сейчас – нет.

– В ресторанах, хороших ресторанах, собирались разные люди: инженеры, ученые, артисты, более или менее обеспеченные, с красотками, естественно, иностранцы бывали, попадались и дельцы, нувориши, мы с ними не знались, я, например, никогда не имела и не носила драгоценностей, в этом было нечто пошлое, нэпманское… Ну, а красиво одеваться… Мода всегда была, есть и будет… А у нас – только «Москвошвей». Носили заграничные тряпки, за ними охотились. Были хорошие портнихи, знаменитая Ламанова Надежда Петровна, главный модельер того времени, работала в Наркомпросе – законодательница мод, но какие моды, заграничные сдирали, жены наших дипломатов привозили альбомы, оттуда и брали… Были и другие знаменитые портнихи, сапожники, все это, конечно, очень дорого стоило… Задача была в том, чтобы появиться в ресторане в особом наряде, выделиться, чтобы все обратили на тебя внимание. Был у меня костюм цвета «кардинал» с замшевым кушаком и серебряной пряжкой, на плечах жакета вставочки вроде погончиков – все обалдели! – Она засмеялась, потом сказала: – Я подумаю, вспомню.

Позвонила:

– Вот еще запиши: платье, расшитое бисером, лаковые туфельки, чулки телесного цвета, «бульдожки» – туфли с широкими носами…

В другой раз назвала фамилии знаменитых портних: Лямина, Ефимова, Данилина, сапожных мастеров: Барковский, Гутманович. Парикмахер Поль на Арбате, лифчики – Лубенец, шляпки – Амирова. Называла для меня, для моей работы, а не потому, что воспоминания эти ее трогали, от той жизни давно ушла, лишена была сентиментальности…

Когда умерла мама, мы приехали с Раей на Востряковское кладбище выбирать место для могилы. В своей жизни я хоронил товарищей в ссылке, на войне, в лесу, в поле, но на настоящем кладбище – впервые. Территория громадная, еще перед войной сюда перевели еврейское кладбище из Дорогомилова. Я шел среди могил, читал надписи на надгробных плитах, сплошь еврейские имена и фамилии, и я подумал: сколько таких могил разбросано по всему свету, нет в мире страны, где бы еврейский народ не оставил могил своих предков. И каков был бы этот народ, сохранись он эти две тысячи лет на своей земле, какое бы это было могучее государство.

Отыскивая место для могилы, смотритель, молодой, веселый парень в офицерской шинели без погон, водил нас по кладбищу. На мой вопрос ответил, что служил в 8-й гвардейской армии. Я назвал ему свою часть, думал, и он обрадуется такой встрече: однополчане, можно сказать. Но он продолжал водить нас по самым отдаленным глухим местам, по грязным земляным дорожкам, по лужам. «В центре места нет, все забито, сами видите». Бригадир, которому предстояло копать могилу, подмигивал мне за его спиной: мол, договаривайся… Я и сам понимал, что надо дать взятку, но стеснялся, боялся оскорбить его таким предложением. А он шутил, посмеивался, цитировал что-то из «Гамлета» и все водил нас по каким-то закоулкам, хотя рядом с хорошими асфальтированными дорожками я видел могилы с совсем свежими датами.

Я остановился:

– Слушай, друг, будь человеком, найди приличное место для моей матери.

И вдруг Рая сказала:

– Толя, с кем ты говоришь?! Перед кем унижаешься?! Этот человек кормится покойниками, он трупоед, он у тебя взятку вымогает. – Она с ненавистью взглянула на смотрителя: – Ну, вы! Перестаньте нас таскать по кладбищу, хватит! Дайте место, где положено, и убирайтесь отсюда!

Это было сказано так, как, наверное, одна Рая умела говорить. Смотритель не выдержал ее взгляда, отвернулся, прошел еще несколько шагов и показал бригадиру место:

– Здесь копай!

И удалился.

Место было не лучшее, но и не худшее.

Мы похоронили мать, а вскоре и отца. Когда закапывали в мамину могилу урну с его прахом. Рая сказала:

– Похлопочи, Толя, пусть прибавят немного места и для меня.

Она болела, что-то с поджелудочной железой, я возил к ней врачей, доставал лекарства, лекарства перестали помогать, после сильного приступа ее отвезли в Боткинскую больницу. Там потребовали срочной операции, она посмотрела на меня, в глазах застыл ужас:

– Может быть, не надо операции? Может быть, лечиться? Я боюсь…

Что ей ответить? Мог ли я взять на себя ответственность и увезти ее домой, когда врачи заявили, что счет идет на часы.

Во время операции она умерла.

И как после смерти матери, так и после смерти Раи меня долго не оставляло чувство вины: может быть, действительно не следовало делать операцию?

На ее похороны собралось много людей. Несколько автобусов подъехали к моргу Боткинской больницы. Оттуда печальный кортеж проследовал в крематорий. Женщины плакали. Рая была трудным человеком. Но ее незаурядность перевешивала недостатки характера, все понимали, какой человек ушел из жизни.

7

Осенью тридцатого года я поступил на автодорожный факультет Транспортно-экономического института.

Годы «великого перелома». «В период реконструкции все решают кадры» – объявил Сталин. Но Сталину нужны были кадры, всем ему обязанные и только ему послушные, от старых специалистов избавлялся быстро и беспощадно. В 1928 году – «Шахтинский процесс», в 1930-м – «Процесс Промпартии». Слова «старые специалисты» стали синонимом слова «вредители», им на смену готовили кадры из рабочих. Возникли новые высшие учебные заведения, принимали в них ребят с образованием в объеме семилетки или фабзавуча (школа фабрично-заводского ученичества), посылали на ускоренные шестимесячные курсы и без экзаменов зачисляли в институты: быстрее, быстрее, сейчас, немедленно дать стране наших советских инженеров, ничего, одолеют, производство знают, справятся и с руководством.

Институт, в который я поступил, был раньше экономическим факультетом МИИТа (Московского института инженеров транспорта), построили его в пригороде Москвы на Ленинградском шоссе, в селе Всесвятском. Студенты еще работали на отделке учебных корпусов и общежития, а занятия уже начались. Давай, давай!.. Пятилетку в четыре года!.. Догнать и перегнать!.. Отстающих бьют!.. Таковы были темпы и лозунги того времени, образ, стиль и норма жизни. Страна под кнутом погонялы рвалась вперед.

Три факультета – железнодорожный, водный и автодорожный. Меня приняли на автодорожный: шофер, рабочий с производства, к тому же с полным средним образованием. Кроме меня с девятилеткой еще были две девочки. Остальные студенты с ускоренных курсов, все из провинции, москвич я один.

Мое исключение из института (об этом я писал в «Детях Арбата») только и осталось отчетливо в памяти. В остальном что-то однообразное, скучное. Холодные нетопленые аудитории, нищенская столовая с неизменным винегретом, пустыми щами, постной кашей, бестолковая работа на стройке – того нет, этого нет. Институт новый, традиций никаких, преподаватели – практики: инженеры и экономисты из разных учреждений, уровень посредственный, профессора ни одного: не желают ездить на трамвае в такую даль. Зубрежка «Вопросов ленинизма» Сталина – главной книги, сопровождавшей нас все годы занятий, основы марксизма-ленинизма, которые нам вдалбливались по любому поводу и без всякого повода, даже на занятиях по бухгалтерии и английскому языку; его преподавал вернувшийся из Лондона торговый работник «Экспортлеса». Всякие новации вроде бригадно-лабораторного метода – зачет за бригаду сдает один студент, наиболее подготовленный, присвоение звания «Ударника учебы» – за активную общественную работу, обязательные шествия в первомайских и октябрьских колоннах, подписка на «Заем индустриализации» в размере месячного заработка, и это при копеечной стипендии.

И все же как-то учились, усваивали «от сих до сих», и ладно… Конечно, не насильно их в вуз загнали. Пришла путевка на производство – давай, ребята, кто хочет поехать в Москву?! Почему не поехать? Почему не получить высшее образование? Общежитие дают, стипендию тоже. Поеду, а там видно будет.

Со временем ускоренную подготовку отменили, от поступающих требовали законченного среднего образования, восстановили вступительные экзамены. Но наборы начала тридцатых годов тоже пригодились. Своих однокашников я встречал много лет спустя: чиновники среднего звена, «винтики», не «высовывались», прожили тридцатые годы вроде бы благополучно.

Были в институте партийный, комсомольский, профсоюзный комитеты. Казенные собрания, казенные речи, единогласные одобрения, единодушные осуждения, утверждалось единомыслие, внедрялись страх, подозрительность, доносительство, набирала силу свирепая репрессивная система, уже явно обозначилось деление на низы – «массу» и аппарат – «номенклатуру».

Директор института – Ганецкая, жена польского революционера Ганецкого, друга Ленина, сановная дама, говорившая по-русски с польским акцентом, может быть, знала марксизм, но не знала транспорта. С ее сыном я учился в МОПШКе, он ходил в горы с нашим главным прокурором Крыленко, чем очень гордился, заносчивый был парень. И его самого, и его отца, и мать – нашу директоршу – расстреляли в тридцать седьмом году. И прокурора Крыленко тоже расстреляли.

Заместителем Ганецкой был старый большевик Каплан, как говорили, родной брат Фанни Каплан, стрелявшей в Ленина. Возможно, выдумали, просто однофамилец. Однажды, выступая на студенческом собрании, где шел разговор о том, как должен работать студент, Каплан сказал, что образцом работоспособности может служить Троцкий, о котором он теперь вспоминает с горечью и осуждением, как о перешедшем на сторону врагов. Секретарь парткома записал эти слова в свой блокнот, ничего глупее в то время Каплан сказать не мог. Вскоре его сняли с работы за срыв строительства общежития, затем арестовали и расстреляли.

Сохранились, правда в единичных экземплярах, и идеалисты, например, декан нашего факультета Абол, из латышских крестьян. Пошел в революцию, на гражданскую войну, убежденный коммунист, кончил университет, его, как и миллионы других, революция подняла из низов, приобщила к культуре. Добрый и порядочный человек, укорял отстающих студентов: «Страна вас бесплатно учит, дает возможность выбиться в люди, цените это». Его тоже расстреляли в 1937 году.

Большинство студентов безлики. Масса, пассивная и безропотная. Энтузиазм? Был энтузиазм толпы: все навалились – и я навалюсь, все одолеют – и я одолею. Самое страшное – безучастность к чужой судьбе. Меня исключали из института на общем собрании, я стоял на трибуне и видел перед собой ряды людей, смотревших на меня без всякого сочувствия, но с любопытством: зрелище! В виновности моей не сомневались. Зря на трибуну не вытащат, зря такое обвинение не предъявят. Нам не предъявляют, на трибуну не вытаскивают. А его вытащили! Вот как вмазывают, как лупят! Умеют ребята! Им не попадайся! А он чего-то вякает… Потеха! Никто слова не сказал в мою защиту, кроме декана Абола и студента Рунушкина.

Это равнодушие к людям, к чужим судьбам обернулось массовой жестокостью, стало знаменем эпохи, обездушило наш народ, обесценило человеческую жизнь, позволило Сталину истребить десятки миллионов людей, расстрелять, сгноить в лагерях, уморить голодом, сжечь в пекле войны. Я не был в Москве во время октябрьских событий 1993 года, но мне рассказывали, как толпа на Новоарбатском мосту восторгалась каждым удачным выстрелом из танка по Белому дому, приговаривая: «Во дают! Умеют ребята, им не попадайся!» И я вспомнил то собрание в институте. С тех времен пошло!

Я старался не выделяться, не умничал, не лез в «ударники» учебы, в «общественники», отговаривался тем, что живу далеко. А они все тут рядом, в общежитии, на виду друг у друга, их личные дела, проблемы, конфликты, симпатии и антипатии, склоки, ссоры меня не затрагивали, я общался с ними только на занятиях. К тому же строительство корпусов задерживалось, нас перевели на двухсменные занятия, мой курс попал во вторую смену, занятия с четырех часов, и я поступил на работу на полставки в Комитет по делам строительства при Совнаркоме СССР, на площади Ногина, в бывшем Деловом дворе, громадном сером пяти-

этажном здании с длинными коридорами и многочисленными комнатами. Размещалось там несколько наркоматов.

Не помню, кто мне помог туда устроиться. Как бывшего шофера, ныне студента Транспортно-экономического института, зачислили в плановый отдел экономистом: подсчитывал потребность в автомобилях (колоссальная), степень удовлетворенности (мизерная), писал заявки, составлял разнарядки. Планово-канцелярская работа. Впрочем, интересная. Здесь – главный штаб индустриализации. Я видел Куйбышева, Орджоникидзе, Пятакова, сюда приезжали руководители Магнитки, Кузнецка, Сталинградского и Харьковского тракторных, Горьковского и Ярославского автомобильных и многих других вновь воздвигаемых заводов, были просты и дружелюбны с нами, рядовыми работниками, рассказывали о своих нуждах. Нас волновали их проблемы.

Аппарат Комитета большой: инженеры, техники, экономисты, статистики, многие высокой квалификации, опытные, знающие люди. Как и все в стране, запуганные энтузиасты. В одной из комнат работала комиссия по чистке аппарата – «незаметные люди с серенькими глазками», по выражению Ильфа и Петрова, вызывали сотрудников, выясняли детали биографии, одних отпускали, других – «социально-чуждых» – «вычищали по категориям», первая категория гласила: «без права работать в советских учреждениях». А где, спрашивается, работать? Других учреждений, кроме советских, в стране нет.

«Вычищенных» выволакивали на общее собрание. До сих пор помню, как оправдывался милый симпатичный сорокапятилетний экономист Завьялов, доказывая собранию, что не он владел до революции гостиницей, а его жена. «А в какой должности вы состояли при жене?» – раздался вопрос, и в ответ какой-то остряк бросил из зала: «В должности мужа». Кто-то засмеялся, кто-то улыбнулся, но все чувствовали свою униженность: побоялись вступиться за порядочного человека, своего сослуживца. Вершили судьбы индустриализации, хорошо работали, честно, со знанием дела, но понимали: этим не спасешься, опытные инженеры-строители нужны и на Беломорканале.

Но как бы то ни было, в отличие от института с его рутиной, скукой, тягомотиной, здесь все же ощущалось время, кругом образованные люди, совсем другой уровень, другая атмосфера.

Подружился я в Комитете с Михаилом Юрьевичем Пановым, старшим экономистом управления строительных материалов, считался он ценным работником, таковым в действительности и был. Усидчивый, аккуратный, не слонялся по коридорам, не присаживался к чужим столам, всегда на месте, склоненный над широкими и длинными таблицами с перечислением строительных материалов: кирпич, цемент, лес круглый, лес пиленый, алебастр и тому подобное, о них давал справки по любой стройке, работа доставляла ему удовольствие, а своя надобность здесь, уважение, которое ему оказывали, приносили удовлетворение. Окончил лет пять назад Московский университет, беспартийный, к нему не придирались, анкета, значит, в порядке – молодой специалист.

Впрочем, на молодого специалиста тех лет он не был похож: интеллигентный, воспитанный, вежливый человек в пенсне – близорукий, всегда в одном и том же костюме с лоснящимися лацканами и вытертыми локтями, зимой ходил в старом демисезонном пальто, ботах и белой барашковой папахе. Вид довольно странный: старомодные пенсне, боты, а папаха – как бы реликт времен гражданской войны, когда люди носили что попало, лишь бы тепло. Все называли его Михаил Юрьевич, я – просто Миша.

Жил Миша Панов на углу Большой Никитской улицы и Кудринской площади (тогда их уже переименовали в улицу Герцена и площадь Восстания), на втором этаже двухэтажного дома, бывшего барского особняка с широкой парадной лестницей, теперь всегда неубранной, с шатающимися перилами. После революции особняк поделили на коммунальные квартиры с маленькими темными общими кухнями. Комната Миши Панова выходила на

улицу Герцена, высоченный потолок с лепниной, высокие стрельчатые окна, тесно уставленная книжными шкафами, этажерками с альбомами и папками. Мебель ветхая, старинная. В нише, образованной книжными полками, узкая кровать, покрытая серым суконным солдатским одеялом, в другой нише – письменный стол, на нем баночки, тюбики с клеем и красками, стаканы с карандашами, ручками, кисточками, тут же ножницы, бритвочки, тушь.

За столом, освещенным настольной лампой, Панов в домашней клетчатой куртке подклеивает страницы, переплетает книги, ведет каталог. Уютно пахнет клеем, красками. Я в старом кресле с высокой спинкой и продавленным сиденьем рассматриваю «Мир искусств» – красочное дореволюционное издание, рядом в большой корзине журналы «Весы», «Аполлон», «Золотое руно». Изумительные заставки, виньетки… Бенуа, Добужинский, Бакст… «Маркиза» с эротическими иллюстрациями Сомова. Я вырос на «передвижниках», у Панова все было для меня внове.

Миша, не отрываясь от своей работы, говорил:

– Это искусство сейчас не ко времени, но оно останется, не пропадет.

Мне было ясно, чем вызван его аскетизм, вытертые локти и лоснящиеся лацканы – все свои деньги он оставлял у букинистов… «Ад» Данте с иллюстрациями Доре, книги издательства «Academia»… Я любил французскую литературу, читал Бальзака, Стендаля, Флобера, Мопассана, Анатоля Франса, многое в подлиннике, но у Панова впервые увидел Анри де Ренье, Шарля Луи Филиппа, Марселя Пруста, Жюля Ромена. Он берег их, не позволял выносить из дома.

– Зачитывают даже самые близкие друзья. Пожалуйста, сиди читай здесь.

Я приносил иногда с собой водку, мы выпивали по рюмке, Миша опять брал в руки кисточки, я читал. Так он жил: комитет с кирпичами и цементом и дом с книгами и гравюрами. Нигде больше не бывал, в театры и кино не ходил, с женщинами не встречался. Я же выкраивал время для всего.

Как-то рассказал Мише, что был в Эрмитаже на концерте и в антракте увидел в саду знаменитого графолога Зуева-Инсарова. На столике – стопка конвертов, карандаши: надо написать на конверте свой адрес, через несколько дней получишь графологическое исследование. Все удовольствие – пятьдесят копеек.

– Я о нем слышал, – сказал Панов.

– У него книга отзывов: Луначарский, Максим Горький. Артист оперетты Ярон даже написал: «Зуеву-Инсарову от разоблаченного Ярона».

– Ну, а ты не попробовал?

– Попробовал и получил ответ.

– Что он тебе написал?

– Довольно обтекаемо… «Несомненная литературная одаренность, возможно, слабо выявленная вследствие недостаточной целеустремленности». Толкуй, как хочешь… Если я пописываю, значит, в точку попал. Если нет, значит, не целеустремлен.

Он продолжал молча работать, потом сказал:

– Каждый человек должен писать. Умение писать – первый признак интеллигентности. В классических учебных заведениях этому учили, хотя и не готовили писателей. Царскосельский лицей… Не будь там рукописных журналов со стихами, повестями, эпиграммами лицеистов, не знаю, имели бы мы Пушкина. Конечно, – пожал плечами, усмехнулся, – Пушкин из тебя вряд ли получится, зато останешься просто грамотным человеком, умеющим излагать мысли на бумаге.

Строительство нового корпуса закончили, наш курс перевели в первую смену. Работу в Стройкомитете пришлось оставить. К Мише Панову я продолжал захаживать. Приятно было сидеть в старом кресле, рассматривать его новые приобретения. И до знакомства с Мишей я много читал, но у него приобщился к другой литературе – изысканной, изящной. С Мишей

Пановым я встретился после войны, об этом рассказ впереди. В Арбатской трилогии Миша фигурирует под собственным именем, как Сашин сосед по квартире.

За время работы в Стройкомитете мне удалось еще больше отделиться от студенческой жизни, мало кто мной интересовался, зачеты сдавал вовремя, на «хорошо», иногда на «отлично», в каких-либо нарушениях не замечен, комсомольские взносы платил аккуратно. Но именно то, что я держался особняком, меня и выделило. Стали коситься. Что за белая ворона? Почему такая обособленность от коллектива? Надо поставить на место. Все несут общественные нагрузки – и ты давай! Все учебные заведения рапортуют – сто процентов охвата общественной работой, а мы из-за тебя отставать будем? Их покажут летящими в самолете, а нас изобразят ползущими на черепахе? Так не пойдет!

И выбрали меня членом редколлегии стенной газеты. Редактором газеты был тот самый Дима Рунушкин, тихий, небольшого росточка, чуть скособоченный, чуть косоглазый, неприметный, молчаливый, ни с кем особенно не дружил, учился, правда, лучше других. Делали мы газету на переменках, я редактировал заметки, кто-нибудь, обладавший хорошим почерком, переписывал их начисто, все это прикалывалось кнопками к висевшему на стене фанерному макету, обрамленному лозунгами, портретами Ленина и Сталина и увенчанному тоже вырезанным из фанеры и раскрашенным названием газеты «За отличную учебу».

Мы уже кончали институт, уходили на дипломную практику, весна, настроение веселое, номер до некоторой степени юбилейный – завершение теоретического курса. Поместили в газете портреты студентов нашей группы с характеристиками каждого, хотя и лестными, но однообразными и скучными: ударник учебы, общественник, морально устойчив, делу партии предан. Чтобы несколько это оживить, я предложил написать на каждого эпиграмму. Мы их тут же сочинили, веселые, наивные, например, про студента Бориса Найденова, толстяка, обжору: «Свиная котлета и порция риса – лучший памятник на могилу Бориса». В таком дружеском тоне написали и остальные эпиграммы, в том числе и на меня:

Упорный труд, работа в моде,
А он большой оригинал.
Дневник теряет, как в походе,
И знает все, хоть не читал.

На первом курсе мне поручили вести дневник посещаемости, я его потерял, был небольшой переполох, дневник нашли, но вести поручили другому студенту. Отсюда и эпиграмма.

В общем, такие невинные стишки мы написали друг на друга и разъехались на практику, а когда вернулись, оказалось, что газету партком снял, а на нас завели дело: «Об опошлении ударничества». Мол, с одной стороны, ударник учебы, с другой – обжора, работа у нас не «мода», а дело чести, доблести и геройства. В общем, вылазка врага. И этим врагом был я – именно я предложил написать эпиграммы, именно я предложил не писать передовицу, все равно она будет в институтской многотиражке. И от общественной работы увиливал, и от коллектива отделился. И в свое время, когда замдиректора Каплана снимали с работы за срыв строительства, подтвердил на собрании его слова, что строительные материалы не подвезли, то есть поддержал разоблаченного ныне врага народа. Оказывается, и в школе, где я учился, учились также дети многих врагов народа и были распространены троцкистские настроения. В общем, наворотили всякое. Рунушкин заявил, что как редактор за газету прежде всего отвечает он. Но Рунушкин был им не нужен, им был нужен я, по соображениям, о которых догадался, уже сидя в Бутырской тюрьме. Рунушкину объявили выговор, а меня исключили, потом посадили. А он зашел к моей матери, матери арестованного, не побоялся. Я вспомнил, как-то раз мы с ним в колонне демонстрантов проходили по Красной площади,

на трибуне мавзолея стоял Сталин, в небе проносились самолеты, и Рунушкин задумчиво произнес: «Спикирует самолет на мавзолей – вот и конец товарищу Сталину». Тогда мне показалось, что он опасается за жизнь товарища Сталина, потом понял: удивляется, почему ни один из летчиков не решится уничтожить тирана. Встречу с Рунушкиным во время войны я описал в «Прахе и пепле».

Второй запомнившийся студент – Петр Булжанов, самый старший в группе, лет за тридцать, старик по сравнению с нами, двадцатилетними, сутуловатый, бледнокожий, очень худой (как велосипед, посмеивались в группе), со щетиной на щеках, редко брился, сидел всегда в пальто на задней скамейке возле батареи центрального отопления, грелся. Родом не то с Урала, не то из Сибири, прямо не говорил, все обиняками, учился на рабфаке и только сейчас, когда рабфаки давно ликвидировали, попал в наш Транспортный институт. Что делал, где болтался, каким ветром занесло в Москву? Необычный в советское время «вечный студент». Сидя на задней скамейке, вроде бы дремал, однако на вопросы преподавателей отвечал сразу, хотя и расплывчато, но правильно. Болезненность его, зябкость, сонливость были, я думаю, притворством – так с него меньше спрашивали. На стройке не работал – врач освободил. Пришла на факультет одна путевка в дом отдыха в Ялту, многие подали заявления, длинные, убедительные, а получил Булжанов, его заявление состояло из одного слова: «Отощал».

По приезде из Ялты рассказывал мне:

– Заходил в Дом-музей Чехова, сестру его видел, Марию Павловну. И подумал: мог бы Антон Павлович писать в наше время? Как считаешь? Пушкин, Лермонтов, Толстой могли бы?

Много читал, на любви к литературе мы с ним и сошлись, тяготел он к крестьянской поэзии, поносимой в ту пору как «кулацкая». О Есенине сказал:

– Конечно, был цветистее других, умел себя подать. Это большое искусство для поэта – уметь себя подать. Молодой, красивый, скандальный, выделялся. Светский был поэт, по заграницам ездил, на американке женился, из кабаков не вылезал. А те – тихие, спокойные, вон Клычков: «Хорошо, когда у крова сад цветет в полдесятины, хорошо иметь корову, добрую жену и сына…»

Читал стихи, закрыв глаза, тихо, размеренно, кончив читать, спросил:

– Чувствуешь, кто к чему тяготел?

– Чувствую, конечно, но корень у них один – Русь. И наставник один – Клюев.

– Но Есенин мог сказать: «Отдам всю душу Октябрю и Маю», а те не могли.

– Ну как же? «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах». Это ведь Клюев?

– Да, Клюев. Потому что верил спервоначалу, даже в партию вступил, искренне говорил, а Есенин, я думаю, для рифмы, для красного словца. Клюев, как все понял, наотмашь бил: «Вы обещали нам сады в краю улыбчиво далеком. На зов пошли – чума, увечье, убийство, голод и разврат!»

– Есенин тоже говаривал такое!..

– Не отрицаю. Все они не принимали советскую власть. Вот Орешин: «Как ярый спрут, ползет по свету слепая мертвенная сталь, ужели вам, как мне, поэту, цветка измятого не жаль». Но в чем разница? Клюев, он из староверов, много по России странствовал, к разным сектам прибивался. Бога искал, стихи его вроде раскольничьих песнопений, духовные, много, как бы тебе сказать, церковной обрядности, древней книжности, архаичности, поэтому он не так понятен, как Есенин. Есенин не стерпел – повесился, а Клюев, да и Клычков с Орешиным, терпят, хотя судьбу свою понимают.

Он посмотрел на меня, снова прикрыл глаза и прочитал клюевское:

– «Я надену черную рубаху и вослед за мутным фонарем по камням двора пройду на плаху с молчаливо-ласковым лицом». – Открыл глаза, взглянул на меня: – Все они пройдут по каменьям двора. Вот этим Есенин и выше их – не захотел, чтобы потащили, сам себя приговорил, а эти стихи хотят сочинять. Вот и досочиняются.

– Слушай, Петро, очень ты откровенно говоришь.

На его полусонном лице вдруг мелькнула насмешливая улыбка.

– А чего мне бояться? Мы же с тобой вдвоем, третьего между нами нет, без свидетелей разговор, кто, что, кому сказал, как докажешь? – Помолчал. – Сам-то пописываешь?

– Нет.

– Врешь, корябаешь чего-нибудь втихаря.

Из чего я заключил, что он сам пописывает, но спрашивать не стал, захочет – покажет. Не показал. И не затевал больше таких разговоров. Только раз заметил по какому-то поводу:

– Отец мой токарь в депо, до революции дом собственный поставил, содержал семью, восемь гавриков нас настрогал, жили хорошо, сытно, корова своя была. Теперь отец в той же должности едва себя с матерью кормит.

Зябко кутался в пальтишко, засунув ладони в рукава, хотел что-то добавить, но не добавил. Когда началась моя эпопея в институте, сказал внушительно:

– Я тебя защищать не буду, в такие дела не вмешиваюсь, но дам совет: не лезь в бутылку. Это государство тебя, как каток, расплющит. Признавай ошибки, проси прощения, да пожалостливее. Выцарапывайся, если жить хочешь.

Не послушался я его совета, не стал «выцарапываться». Да и не помогло бы.

Навестил я Булжанова в конце пятидесятых в городе Калинине, работал он экономистом в автоуправлении, жил с женой в учрежденческом стандартном деревянном доме в крохотной, скудно обставленной комнатушке. Дочь уже кончила педагогический институт, вышла замуж, перебрались с мужем в Москву.

Выпили четвертинку.

– Моя норма на двоих, – заметил Булжанов, – потягиваешь с пивком, вот и вечер отсидел, можно спать ложиться, еще, значит, денек прожил.

Был он такой же худой, бледнолицый, еще сильнее сутулился, по-прежнему редко брился, щетина на щеках и подбородке была с проседью.

Почти всю войну провел в плену.

– Не я один там был, миллионы, куда денешься? Зато жив остался. За кого умирать-то? Он нас под плен подвел и нас же изменниками объявил. Наши потом придирались, душу выматывали: как и почему? Будто не знали, как и почему. И не сумели подкопаться: в плену у меня все чисто было. Агитировали немцы, харчи хорошие обещали. Я никуда. Что мне надо? Миску баланды сглотну, чинарик раздобуду, заберусь на нары, покуриваю – живу втихаря. Приглядывались они ко мне – доходяга, пристрелить надо, однако лопату в руках держу, значит, годная еще рабочая скотина, на этой ниточке и провисел. Теперь Никита нас вроде бы реабилитировал, только никто ему спасибо не скажет. Сталин перебил миллионы, и все равно поклоны ему кладут, управлять умел, знал секрет. А Никита – мужик, свои же мужики его и скинут, скажут: чем он лучше нас? Такая наша страна Россия.

– Пишешь? – спросил я его.

Он глянул куда-то в сторону шкафа и, как в институтские годы, ушел от ответа.

– А к чему? Читал я твои книжки, не подличаешь, но и всей правды не говоришь. А сказал бы, что толку? Ни до кого бы твоя правда не дошла, только сам загремел бы. Помнишь, говорили мы с тобой о Клюеве, о других, где они теперь? Нет, брат, жизнь наша заячья – сиди под кустом, глазами постреливай – нет ли лисы или волка поблизости. Нет, ну и слава Богу!

8

Ожидал ли я ареста? По-видимому, да. Но не показывал этого матери. Когда меня уводили, улыбался, говорил, что недоразумение разрешится, через несколько дней вернусь. Мне не удалось ее успокоить. Мой арест потряс маму, она стала другим человеком.

Не знаю, как бы я отнесся к такой катастрофе теперь. Мне 86 лет, не так много вроде бы осталось… Думаешь, как будут жить мои без меня, какие надо сделать распоряжения… А сам? Все равно, ну, арестовывайте, сажайте… И все-таки не хотелось бы снова проходить через все это. А тогда?! Тогда мне было двадцать два года. В этом возрасте жизнь кажется нескончаемой, живешь, и будешь жить, так или по-другому, хуже – лучше, молодость, здоровье – все при тебе в любых условиях. В юности ничего не страшно, все впереди.

Я сел в поджидавший нас на Арбате автомобиль, рядом со мной – конвоиры с винтовками, машина промчалась по ночной Москве, въехала в ворота тюрьмы, меня посадили в камеру-одиночку, таскали на допросы, объявили контрреволюционером, антисоветчиком, врагом народа, и я понял, что с этим клеймом быть мне изгоем в стране, за которую готов умереть. Теперь, вспоминая проведенные в камере месяцы, тоску, безысходность, отчаяние, я понимаю тех, кто шел на все, лишь бы не отрывали его от дела, которому отдана жизнь. Преданность партии эти люди ставили выше собственного человеческого достоинства и жестоко за это поплатились. Но я не брошу в них камня. Они верили в великую идею и продолжали верить, когда идея уже переродилась. Это было их заблуждением. Заблуждением, но не преступлением.

Тюрьма запомнилась мне своею тишиной, в тюрьме должно быть тихо – тихо, значит, все в порядке. Редкие приглушенные звуки доносятся только из коридора. Чуть слышно шаркает валенками надзиратель, приближается к твоей камере, дрогнула в двери заслонка глазка, надзиратель смотрит на тебя – как живешь-поживаешь, что поделываешь. Глазок закрывается, шарканье валенок отдаляется, стихает у следующей камеры. Так и прислушиваешься весь день к коридору. Негромкий стук ключа по металлу – надзиратель предупреждает следующего коридорного, что ведет заключенного, заключенные не должны попадаться друг другу на глаза, никто не должен знать, кто еще здесь сидит. Три раза в день звуки в коридоре чуть усиливаются – раздают пищу: открывается окошко в двери, удар алюминиевой ложкой об алюминиевую миску, звук наливаемого в кружку кипятка, дверца тихо закрывается. Сильнее звучит металлический скрежет запора, когда открывают дверь и выводят на оправку (утром и вечером) или на прогулку днем, двадцать минут по крошечному тюремному дворику, куда доносится отдаленный глухой шум московской улицы.

В первый же вечер после ужина я услышал осторожное постукивание из соседней камеры – быстрые мелкие удары, короткие паузы, шуршание, потом все стихло. Я не ответил тогда: не умел перестукиваться. И все же это постукивание, полное упорной тюремной надежды, повторялось каждый вечер. Я ответил, когда появился в моей камере сосед и научил тюремной азбуке.

Запомнились и запахи. Хлорки – сильный в уборной, слабый в камере – от параши. Хлеба – тяжелого, плохой выпечки, с отлипающей коркой, но с его кислого запаха начинался новый день. Копченой колбасы, она была в первой маминой передаче – первый запах с воли, из дома, из прошлой жизни.

Мое дело вел следователь Шарок, ставший под своим же именем прообразом одного из главных персонажей Арбатской трилогии. За несколько месяцев Шарок вызывал меня четыре раза, ночью, каждый допрос длился часа три. Внешне Шарок точно такой, каким описал я его в «Детях Арбата», – стройный, русоволосый, красивый подмосковный парень,

старше меня, может быть, на два-три года, безусловно, комсомолец или член партии. Дело шил мне откровенно, цинично…

Люди, которых встречаешь на переломе своей судьбы, запоминаются навсегда. Тем более, если они ее ломают. В Бутырках в моем деле Шарок представлял безжалостную сталинскую репрессивную систему. Но уже тогда мне где-то в глубине сознания, еще неотчетливо, туманно, но предвиделось будущее этой генерации. Вряд ли Шарок дожил до нашего времени. Но сохранились такие, как он – бездуховные, циничные, алчные.

Я опускаю ссылку, описанную мной в «Детях Арбата» и «Страхе», она закончилась 5 ноября 1936 года.

Не знаю, что тяжелее – ссылка или скитания после нее. В ссылке у меня было ясное положение – лишенный всех гражданских прав, паспорта, не имею права покидать назначенного места жительства. Но была перспектива, надежда – кончу срок, обрету свободу, есть чего дожидаться. На воле я имел паспорт, но в нем отметка, мое право передвижения по стране ограничено небольшими «нережимными» городами. Я меченый. Почему и за что, я обязан указывать в анкетах, автобиографиях, заявлениях, на мне клеймо, бессрочное, до конца жизни. Если я предъявляю паспорт в отделе кадров или сдаю в милицию на прописку, то отметка мгновенно становится известной местному отделению НКВД, оно берет меня «на карандаш», я становлюсь объектом их слежки, их охоты, возле меня появляются осведомители, чтобы накрутить новое дело, а если дело накрутить не удастся, то просто посадить при очередной разнарядке, чистке, всплеске репрессий, ведь я «ранее судимый» по статье 58-10 – за контрреволюционную агитацию и пропаганду, уже битый, поверженный, «обиженный», самый подходящий кадр для пополнения трудовых лагерей.

Гигантская сеть накрыла страну с ее морями, реками, лесами, полями, городами, селами, деревнями, домами, избами, бараками. Под этой сетью копошится двухсотмиллионный народ, никто не выдерется, не выскользнет, не высунется, не встанет во весь рост, обо всех все известно, никто никуда не денется, самовольно не передвинется. Миллионы соглядатаев, энкавэдэшников, милицейских чинов, кадровиков, надсмотрщиков, официальных и тайных, гласных и негласных, проверяют каждого вдоль и поперек, всех до одного, сверху донизу.

И над всем этим беспощадный государственный террор, всепроникающий и всепронизывающий страх, всеобщая рабская покорность. Газеты, радио наполнены злобой, ненавистью, поношениями, отчетами о судебных процессах, где руководители партии и правительства, создатели Советского государства сознаются в чудовищных преступлениях против этого государства: в убийствах, вредительстве, шпионаже, сотрудничестве с иностранными разведками. Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Тухачевский, Раковский, Сокольников, Пятаков, народные комиссары, старые большевики, прославленные полководцы, герои гражданской войны – все оказались изменниками, предателями. Может быть, их пытали? Но ведь меня не пытали. И людей, которых я встречал в ссылке, тоже не пытали. Тогда что же? Играли актеры? Где же найдешь столько и таких актеров? Непонятно, загадочно, дико.

Но другим, видимо, понятно. Вся страна их осуждает, требует казни. Всюду митинги – расстрелять, расстрелять, расстрелять! Я был поражен, читая в газетах имена писателей, артистов, ученых, требующих крови «изменников». «Презренные наемники фашизма», «выродки», «эти люди не имеют права жить», «кровавые собаки реставрации»… Гонка мастеров слова, кто хлеще напишет, кто злобней выразится. Совесть народа! Могли ли такое произносить Пушкин, Чехов, Толстой?!

Всех повязали одной веревкой – и сильных, и слабых. Многомиллионная страна, поющая «Эх, хорошо в стране Советской жить…», проклинающая вымышленных врагов и прославляющая своих палачей. Несется стадо с бешеной скоростью, и тот, кто замедлит бег, будет растоптан, кто остановится, будет раздавлен. Надо мчаться вперед и реветь во

всю глотку, во всю силу своих легких, ибо на тех, кто молчит, обрушится карающий бич, нужно топтать упавших, шарахаться от тех, кого настигнет петля отловшика. И кричать, кричать, чтобы заглушить в себе страх. Победные марши, боевые бодрые песни и есть этот крик.

В октябре 1993 года в центре Москвы расстреляли из танков парламент, убив при этом сто пятьдесят человек. Сорок два писателя одобрили этот расстрел. Ничего не меняется на Руси.

А тогда, ускользая от контроля свирепого государства, я скитался по стране. Приезжал в новый город, оставлял вещи в камере хранения, шел на почту, звонил маме – жив-здоров, ни о чем не беспокойся. Потом шел в столовую, садился за стол, видел, какая официантка его обслуживает, заказывал тарелку супа: больше денег нет… Она все же приносила второе: парень заметный, завязывалось знакомство, было где переночевать, не у нее, так у подруги или у соседей. Находил работу – шофером, слесарем, жил в бараках на окраине города или в ближней деревне – там не надо прописываться. Как начинали дознаваться, кто я такой, тут же смывался. Опять новый город, камера хранения, звонок маме… Работал перевозчиком на моторке, преподавал западноевропейские танцы, ездил в разные экспедиции, где документы особенно не спрашивают. Многие понимали, кто я, но делали вид, что не догадываются. Были и сволочи, и хамы-начальники, были случайные знакомые, такие же перекати-поле, как я, и девки, и жалостливые бабы, и сомнительные компании, и сильные пьянки – пропади все пропадом! Все было – и радость и гадость. И рядом жили люди, работали, веселились, любили, ходили в театры и кино, рожали детей.

Все те годы меня мучил вопрос: куда ушло из них элементарно-человеческое? Разве знаменитые писатели, ученые, художники не видят чудовищность происходящего? Рядом с ними падают невинные – знакомые, друзья, близкие, в каждой семье был репрессированный. Неужели все верили басням о шпионах и убийцах? Почему все молчали, повиновались, одобряли? Неужели весь народ – трусы, подлецы и карьеристы?

Октябрьская революция подняла миллионы людей к управлению страной, хозяйством, приобщила к культуре, сделала руководителями разных степеней и уровней. Их судьба .зависела от незыблемости нового порядка, и потому этот новый порядок надо охранять любой ценой. Ленин дал спасительную формулу: «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата», предполагая ее действительной только на время гражданской войны. Но Сталин возвел эту формулу в абсолютную общественную мораль. Что полезно для пролетариата? Решает товарищ Сталин. Все, что исходит от него, все законно, нравственно, этично: убивай, лги, предавай, обманывай – если это одобряет товарищ Сталин, ты чист и безнаказан. Если ты не донесешь на другого, он донесет на тебя. Всеобщее доносительство стало нормой жизни.

В начале шестидесятых годов, работая над романом «Дети Арбата», я поехал на Ангару в те места, где отбывал когда-то ссылку. Встретился там с секретарем райкома комсомола, милым, веселым, предупредительным парнем. Оказался он из семьи спецпереселенцев, вывезенных сюда в конце двадцатых «кулаков» с Кубани. Привезли зимой, бросили в снег, выживай, как хочешь. Многие погибли в ту зиму. И дед его, и бабка тоже погибли. Отец с матерью уцелели, выкарабкались, прижились тут, детей вырастили.

Говорил он спокойно, ничто не дрогнуло на его лице при рассказе о гибели родных, о судьбе односельчан.

Я спросил:

– Как ты теперь на это смотришь?

Он пожал плечами.

– Досталось, конечно, и деду и бабке, и родителям моим туго пришлось. Но ведь с какой стороны посмотреть. Вот я – секретарь райкома комсомола, учиться поеду в Москву в партийную школу, брат мой – заместитель главного инженера на Красноярской ГЭС, сестра

– директор универмага в Иркутске. А не выслали бы тогда деда и бабку и родителей моих, пас бы я теперь на Кубани свиней и гусей, в лучшем случае в трактористы или в комбайнеры вышел. Так что обиды на власть не чувствую. Так получилось. И, выходит, к лучшему.

У этого милого парня не было никакой памяти о своем народе, о его невзгодах и страданиях.

И сейчас, когда я вижу, как топчут память о солдатах, погибших в Великую Отечественную войну, вижу на демонстрациях портреты Сталина, уничтожившего многие десятки миллионов русских людей, в том числе дедов, бабок, отцов и матерей тех, кто эти портреты несет, я задаюсь все тем же вопросом: неужели у нашего народа нет памяти?

А ведь у народа без памяти нет будущего.

9

Исключение из института, арест, тюрьму, ссылку, скитания по России, первые годы войны я описал в трилогии «Дети Арбата», «Страх», «Прах и пепел».

Ее герою, Саше Панкратову, я дал события своей жизни с теми трансформациями, которых требует проза, – без них она превращается в автобиографию.

Название романа «Прах и пепел» символизирует гибель моего поколения и грядущее крушение государства, это поколение взрастившего.

Последний год войны я служил в 4-м гвардейском стрелковом корпусе в должности начальника автомобильной службы. Прибыл туда из госпиталя в начале сентября сорок четвертого года. Корпус стоял за Вислой в шестидесяти километрах южнее Варшавы, на Магнушевском плацдарме, захваченном еще 1 августа.

Рано утром 1 августа войска 8-й гвардейской армии внезапно форсировали Вислу и завладели плацдармом на ее левом берегу. Переправились на 83 амфибиях и 300 лодках и катерах, вместивших всего 3700 человек. Но удар был настолько дерзок, стремителен и неожидан для немцев, что наши батальоны сумели не только переправиться, но и закрепиться, обеспечив переброску остальных войск. Навели мосты, доставили артиллерию, тяжелую технику, танки и расширили плацдарм до 45 километров по фронту и до 18 километров в глубину. К 6 сентября возвели две линии сплошных траншей, перед ними противотанковые и противопехотные минные поля и заграждения из колючей проволоки. Несмотря на все свои отчаянные попытки, противник уже не мог сбросить нас в Вислу.

До Вислы попутными машинами я добрался к вечеру. С реки дул холодный сентябрьский ветер. Начальник переправы сказал:

– Кого вы там ночью будете искать? Переночуйте здесь, утром отправлю.

В заброшенной рыбацкой хибаре на берегу было темно, холодно, сыро. На земляном полу валялось несколько тюфяков, на них, укрывшись шинелями, спали человек пять-шесть солдат или офицеров – тоже, видимо, дожидались переправы. Я нашел в углу свободный тюфяк, снял сапоги, подложил под голову свой вещевой мешок, накрылся шинелью и мгновенно заснул – день был тяжелый.

Утром переправился на плацдарм, явился на командный пункт, расстояния тут короткие, доложился командиру корпуса – Василию Афанасьевичу Глазунову. Генерал-лейтенант, высокий, худощавый, черноволосый, лицо пожилого солдата, неулыбчивое, но не злое. Прочел мое направление, вернул:

– В дивизиях недокомплект машин, жалуются командиры.

Хорошо уже знакомое мне общее указание: в дивизиях должно быть все, положенное по штату, тогда с командира дивизии можно требовать выполнения боевого задания, не выполнит – никакие оправдания не помогут. Снабжение централизованное: фронт – армия – корпус – дивизия – полк – батальон. Но на всех не хватает. Значит, доставай, добивайся, выцарапывай, не зевай! Обеспечил, значит, ты на своем месте, не обеспечил – не тянешь на эту должность. Штабники у своих карт разрабатывают операцию, а командиры и начальники всех рангов и степеней ее готовят. Всю войну я прослужил в автомобильных частях, не хватало шоферов, не хватало машин, запасных частей, резины, бензина, и снабженцы «вертелись», с них требовали, и я, став командиром, тоже заставлял их «вертеться» и сам «вертелся».

– Устраивайся!

На этом разговор с командиром корпуса закончился. Как личность я его не интересовал. Сегодня я есть, завтра – нет: убьют, ранят, переведут куда-нибудь, вместо меня появится другой, и с него будет тот же спрос: обеспечь!

Представился я остальному начальству, кому положено, сдал документы, встал на довольствие, вырыли мне землянку в лесу, вернее, закончили строить уже начатую, положили настил, и все равно приходилось вычерпывать воду.

За неделю я объехал подчиненные корпусу дивизии и отдельные части. Плацдарм представлял собой кусок измокшей, местами сплошь заболоченной земли между реками Пилица и Радомка. Зарываться глубоко в землю трудно: выступала вода, все заливала – траншеи, блиндажи, орудийные окопы. К тому же с середины сентября пошли дожди. Рубили лес, строили дороги, заслоны, перестраивали блиндажи, рыли новые окопы, строили новые траншеи, землянки, ходы сообщения. Армия вела бой с водой, одновременно оборонялась от немецких атак, бомбежек, танков дивизии СС «Герман Геринг». Но этот плацдарм мы не могли отдать – с него начнется главное наступление на Одер, а там и на Берлин. И, борясь с водой, ведя тяжелые оборонительные бои, армия готовилась к генеральному наступлению.

В этих условиях работал и автомобильный транспорт – единственный способ снабжения войск: под бомбежкой, артиллерийским обстрелом, на разрушенных противником переправах. Машины потрепанные, побитые, наши отечественные ГАЗ-АА и ЗИС-5, немного трофейных, тоже изрядно изношенных. Новыми были только американские: «студебекеры», «шевроле», «доджи», хорошие машины высокой проходимости направлялись в основном в артиллерию. Машин не хватало, шофер в работе круглые сутки, поспишь час-другой в кабине – это твой дом и твое рабочее место.

Автомобильное хозяйство корпуса большое: три стрелковые дивизии, артиллерийская бригада и отдельные артиллерийские полки на механической тяге, автороты, батальоны связи, саперные, медицинские, походная ремонтная база (ПРБ) – тысячи машин, тысячи водителей, ремонтников. Люди разные, и встречали меня по-разному, но все настороженно. Должность начальника автослужбы новая, раньше ее не существовало, каждый командир части привык распоряжаться своими машинами, как хотел, мое появление означало дополнительный контроль и ограничение прав. К тому же некоторые офицеры были равного со мной звания, один даже подполковник. Но я воевал уже три года, повидал всякое, знал, как подчинить и расположить к себе людей. К тому же имел специальное техническое образование, работал в свое время водителем, разбирался в машине, и в трофейных машинах разбирался – мы их стали брать еще в первую военную зиму, и в американских: их получали с лета сорок третьего года. Шофер мгновенно соображает, кто перед ним: просто начальник или такой, что понимает в деле, может подсказать, помочь, посоветовать и к тому же говорит с тобой по-человечески.

Вернувшись в штаб корпуса, я представил своему начальнику – полковнику Мироненко – рапорт о положении с автомобильным транспортом. В Сталинграде, на переправе через Волгу, Мироненко контузило, с тех пор он плохо слышал. Но его не демобилизовали, а назначили заместителем командира корпуса по тылу: за боевые действия не отвечает, а обеспечением занимаются его подчиненные, начальники служб снабжения: продовольственного, вещевого, материально-технического, горюче-смазочного, медицинского и транспортного обслуживания, теперь подчинили еще одну службу – автомобильную. Человек туповатый, малообразованный, но работать не мешал. Знал армейские порядки – всю жизнь в армии, держался солидно, соответственно своей должности и званию, грузный, представительный, говорил не торопясь, с паузами, беспрекословно выполнял распоряжения начальства и своих подчиненных заставлял выполнять их неукоснительно – большего от него не требовалось, типичный представитель рутинной военной машины, которую приходилось приспосабливать к нуждам войны. После уничтожения в тридцатых годах опытных, знающих военных кадров теперь все годилось: вчерашние лейтенанты командовали полками, гражданские инженеры на поле боя осваивали военную технику.

Рапорт мой был короткий: не хватает столько-то автомашин, тягачей, резины, аккумуляторов, не хватает водителей, ремонтников.

Мироненко прочитал рапорт, попыхтел, нахмурился:

– В автоотдел армии надо заявку подать. Добиваться надо, а не рапорты писать.

Я предполагал, что он будет недоволен моим рапортом – страхуюсь: вот, мол, в каком состоянии принял автослужбу, и если что случись, я не виноват, я предупреждал. Но идти обычным, привычным путем нельзя: положение с автотранспортом отчаянное, в наступлении корпус окажется в тяжелом положении. И на армейском уровне нам не скоро помогут и мало дадут. Наша 8-я гвардейская армия подчиняется 1-му Белорусскому фронту. В автоуправлении фронта возможностей намного больше, и, главное, там меня знают и обещали помогать. Но рассказывать об этом Мироненко я не хотел. Для него установленный порядок – закон. И если у меня в автоуправлении ничего не получится, то я буду выглядеть болтуном. Ситуацию надо обдумать. И все же я сказал:

– Лучше бы в штаб фронта.

– Как это мы можем? Через голову штаба армии обращаться? Кто это нам позволит? Пиши заявку!

– Слушаюсь!

Однако на следующий день Мироненко меня вызвал, нахмурясь, спросил:

– Ты когда в дивизии ездил, ничего там не натворил?

– Что я мог там натворить?

– Ни с кем не полаялся?

– Нет, вроде бы все было спокойно, а что случилось?

– А то, что вызывает тебя командир корпуса. Зачем вызывает?

Я пожал плечами:

– Не знаю.

– Иди к нему, узнаешь.

Я отправился к Глазунову, привык к таким вызовам. Вслед за мной прибыло мое личное дело: начальник строевого отдела (кадровик) и начальник СМЕРШа его читают и видят – судимость по статье 58-10. Особист берет на заметку, «на карандаш», а кадровик докладывает начальству – его обязанность докладывать о каждом вновь прибывшем работнике штаба, а тут к тому же анкета.

Надо сказать, что на фронте мало кто придавал значение анкете, воюют люди, а не анкеты. Солдаты вообще их не заполняют, и кто там судимый, или из раскулаченных, или сын «врага народа», или из бывших дворян или купцов – никто этого не знает и знать не хочет. И если присвоили кому-то офицерское звание, то он правду в анкете не напишет: во время войны ничего не проверишь. «Органам» работы поубавилось: сами на передовую не стремились, всегда оказывались позади, и разнарядки на аресты, наверное, отменили – людей в войсках не хватает, воюет человек, и ладно! И в стукачи быстро не завербуешь – все в голом поле, все на виду, а если заведется какая сволочь, то в бою получит пулю в спину – люди кругом вооруженные, такого доносительства, как перед войной, в армии не было и быть не могло. Оживились «органы», когда мы стали занимать ранее оккупированные территории: старосты, бургомистры, полицаи, лица, сотрудничавшие с немцами. А дальше пошли бандеровцы-оуновцы, власовцы, польские националисты, эсэсовцы – тут работы хватало. В войсках главным охранителем были политорганы. Партийные структуры пронизывали армию сверху донизу, до взвода, до отделения, уже в батальонах был освобожденный политрук, никаких стукачей не надо, все перед тобой.

И все же повышенный интерес к своей персоне я чувствовал. За годы скитаний по России с «минусом» привык «шкурой» ощущать, что значит любой брошенный на меня взгляд: подозрительность, сочувствие или просто любопытство.

В генерале Глазунове я тоже на этот раз почувствовал интерес к себе, в отличие от первого посещения. Что это – бдительность? Нет! Он за меня не отвечает, отвечают те, кто присвоил мне офицерское звание, прислал сюда и назначил на эту должность.

Но именно то, что я, бывший «враг народа», осужденный за контрреволюцию, не скрывал своей судимости и мне, майору, дали полковничью должность, его, видимо, и заинтересовало.

О генерале Глазунове я знал следующее: из крестьян Пензенской губернии, солдат первой мировой войны, затем участник гражданской войны, там выдвинулся, окончил школу комсостава «Выстрел», к июню сорок первого года, дослужился до генерал-майора. В начале войны командовал 3-м воздушно-десантным корпусом. В сентябре 1941 года назначен командующим воздушно-десантными силами страны. Рассказывают, что перед назначением его вызывал Сталин. В докладе о какой-то операции Глазунов употребил слово «ляском» в том смысле, что, мол, выбросили десант и он незаметно, «ляском, ляском», то есть краем леса, подобрался к противнику. Такой оборот речи понравился Сталину. Когда Глазунов вышел, Сталин одобрительно заметил:

– Сразу видно, человек из народа, наш человек.

И утвердил назначение.

Однако в августе сорок третьего года при обсуждении в Ставке очередной десантной операции Глазунов возразил против ее проведения. Сталин не потерпел такой вольности, снял Глазунова с высокого поста и назначил заместителем командира корпуса по строевой части – на должность незначительную и малозаметную. Но и здесь Глазунов сумел проявить себя и через три месяца, в ноябре сорок третьего года, был назначен командиром 4-го гвардейского стрелкового корпуса, хорошо воевал, его корпус первым форсировал Вислу, и в этом году он стал уже генерал-лейтенантом. В общем, кадровый военный с непростой биографией. Кстати сказать, операция, против которой возражал Глазунов у Сталина, провалилась – наш десант немцы расстреляли в воздухе.

Для кадрового военного человека его поколения тридцатые годы были особенно страшными. Командный состав армии – это сложившийся организм, и когда Сталин вырубил в нем сорок тысяч человек, то среди этих сорока тысяч были друзья-товарищи, с кем вместе воевали на гражданской войне, в Испании, на Хасане и Халхин-Голе, с кем учились в одной школе, служили в одной части. И вот твоего верного товарища, боевого друга, хорошего командира, честного коммуниста, на твоих глазах арестовывают и объявляют «врагом народа». Были ли эти люди на самом деле «врагами народа»? В это невозможно поверить, но и не верить нельзя, иначе как служить делу, которому отдана жизнь? Правильнее не думать об этом. Люди сгинули, перешли в мир, из которого нет возврата никому.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.